КРАСНАЯ ШКАТУЛКА

Под редакцией
В. И. НЕВСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва — 1929

Издательство
Всесоюзного
Общества
политкаторжан
и
ссыльно-
поселенцев

КРАСНАЯ ШКАТУЛКА

Под редакцией

В. И. НЕВСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва — 1929

Главлит А.45062 Зак. № .. Тираж 5000 экз.

Книжная ф-ка Центр. Изд-ва Нар. СССР. Москва, Шлюзовый пр., 6,

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАСНАЯ ШКАТУЛКА.

Вместо предисловия.

Благосклонный прием, оказанный читателем первому томику записок моего умершего друга, побудил меня приступить к обработке и других рукописей, находящихся в моих руках.

Но прежде чем остановиться на этих рукописях, издатель считает своей обязанностью сказать несколько слов по поводу тех слухов и разговоров, которые начались по выходе в свет «Революционных былей».

Некоторые читатели и товарищи утверждали, что мой старый умерший друг — просто выдумка моей фантазии и что автор и действующее лицо этих былей — я. Другие, наоборот, называли мне автором недавно умершего и всеми уважаемого старого нашего товарища, интересовавшегося нашим прошлым. Третьи, наконец, утверждали, что я нашел в правительственных архивах опубликованные мной рукописи.

Со всей категоричностью отрицаю все эти предположения. То, что я писал при издании первой части записок моего умершего друга, остается в силе и есть единственно правильная версия, которую я и поддерживаю, любезный читатель.

Мой умерший друг ни в коем случае не может быть называвшимся мне лицом, именно всеми уважаемым товарищем, тоже недавно умершим и любившим наше прошлое. Это лицо претендовало на имя историка, а мой умерший друг, хотя и был человек всесторонне образованный, ни-

когда на такое звание не претендовал: лицо, на которое намекали товарищи, несмотря на все свои блестящие качества, отличалось сухостью и отсутствием каких-либо способностей мыслить мир в образах, а мой умерший друг любил искусство, тонко понимал его, умел ценить величайшие произведения человеческого гения и сам обладал пылкой фантазией. Отсюда ясно, что предположения любознательных читателей неверны. Неверно, наконец, и самое простое предположение, что автор рассказов — я. Это просто смешно. Я только издатель и не больше.

Приступая теперь к изданию второго томика записок моего умершего друга, я решил, во избежание всяких недоразумений, в виде пояснения рассказать о причинах, побудивших меня назвать этот томик столь странным названием: «Красная шкатулка».

Дело объясняется тоже весьма просто. Незадолго до смерти мой друг просил меня взять у него шкатулку, в которой хранились его бумаги, просмотреть эти бумаги, привести в систему, что можно опубликовать, что оставить, что уничтожить.

При этом мой друг заметил, обращаясь ко мне со своей обворожительной улыбкой:

— А шкатулку возьми себе на память обо мне. Она стоит того, чтобы хранить ее, и, кроме того, приносит счастье.

Я скептически улыбнулся в ответ на эти слова, ибо так же, как мой друг, не верю ни в каких фетишей, кем бы они и как бы они ни создавались. Магическое действие живого или мертвого талисмана не вмещается в моей материалистической голове.

Друг мой знал это хорошо и потому, беря меня за руку, сказал:

— А между тем с этой шкатулкой у меня связано одно светлое воспоминание.

И он рассказал мне следующее.

«Приближался день первого мая. Необходимо было подумать о том, как получше написать первомайский листок и распространить его в рабочем районе. Комитет поручил мне заняться этим делом: написать прокламацию, поехать в соседний большой промышленный центр и попросить тамошний комитет отпечатать наш листок.

Подготовивши проект листка и получив одобрение комитета, я скорым поездом отправился в Н. Там шли деятельные приготовления к празднику, и мне с трудом удалось убедить товарищей отпечатать мое «великое» произведение.

Получив тысячу штук листков, отпечатанных на тонкой, почти папиросной бумаге, я двинулся обратно. Недалеко от нашей станции я незаметно проскользнул в уборную и там под рубахой обложил свою грудь и спину драгоценной поклажей; прокламации, впрочем, были настолько тонки, что было совершенно незаметно, есть у меня что-либо под рубахой, в особенности в том случае, когда на мне было надето пальто.

С независимым видом я вышел на предпоследней остановке и те три или четыре версты, которые отделяли ее от города, прошел пешком, радуясь удаче своей поездки.

Часов в одиннадцать утра я подходил к своей квартире, помещавшейся в мезонине, выходившем своими двумя окнами и балконом на чистенькую, глухую улицу.

Радостно встретила меня жена и помогла освободиться от драгоценной ноши.

— Ну, как будто бы все благополучно, — говорил я, любовно поглядывая на небольшую стопку, уже запакованную и лежавшую на столе.

— Ты сейчас же отнесешь их, — обратился я к жене и принялся за завтрак.

Весело я рассказывал новости и думал, как будут злиться жандармы, когда узнают, что прокламации разбросаны и расклеены по городу.

Жена разделяла мою радость и собиралась отнести листки по месту назначения. Все, казалось, обещало удачу.

Однако прежде чем выйти из дома, жена еще раз решила осмотреть улицу и с этой целью вышла на балкон.

— Николай! — вскрикнула она, вбегая в комнату, — жандармы!

Я бросился на балкон и заметил уже последнего жандарма, быстро бежавшего к калитке.

— Что делать? — спросила жена.

— Дверь заперта? — ответил я вопросом.

— Да, но что делать?

Я и жена начали быстро искать сохранное место.

Увы! Поиски наши были безуспешны: мудрено было отыскать такое место в квартире, состоявшей из двух комнат, с голыми стенами, почти без меблировки и уже окруженной жандармами.

Я сначала сунул пачку листков под тюфяк и сейчас же вынул ее оттуда; затем положил ее на низенький шкаф с посудой, но здесь она прямо бросалась в глаза; потом я метнулся к печке и впихнул пачку туда, но и это, конечно, был не выход.

Подбежав к книжной полке, я положил пачку между книгами, но тотчас же сообразил, что это уж совсем глупо: что-что, а уж книги жандармы посмотрят прежде всего.

Мы метались по комнате и не знали, что делать.

Дело было не в том, что кто-нибудь из нас должен был отправляться в тюрьму, а в том торжестве, с которым жандармы испортят наш праздник.

В моей душе кипела такая злоба и досада, что я готов был даже на вооруженное сопротивление.

— Э, чорт! — пробормотал я, — спрячь их хоть на груди, а я посмотрю, нет ли у нас чего-либо еще.

Я бросился к жениному столику, на котором стояла шкатулка, где мы сохраняли все письма и важнейшие бумаги.

Это была прекрасная старинная шкатулка красного дерева. Она досталась жене от бабушки, а та получила ее от матери. Прекрасной работы средины восемнадцатого века, она поражала своей простотой и изяществом. Квадратная, с толстыми стенками, она состояла из двух отделений так, что, открывши крышку, вы находили в ней два ящичка, занимавшие половину всего помещения. Ящички были снабжены искусно выточенными ручками, которые обязательно нужно было повернуть, одну вправо, другую влево, для того, чтобы открыть их дверцы. На переднем плане дна и по бокам его шли планочки из черного дерева, а все остальное пространство дна было выложено затейливым узором из дерева разных цветов.

Я быстро открыл шкатулку и стал вертеть ручку правого ящичка. Ручка почему-то не слушалась меня.

Между тем раздался звонок. Мы не открывали.

— Да скорей же ты! — прошептала жена.

Я продолжал возиться с ручкой. Она, однако, не поддавалась. Я уперся одной рукой в дно шкатулки, а другой стал вертеть ручку. Ручка попрежнему даже не вертелась. Тогда, чтобы добиться своего, я с большей силой уперся в дно шкатулки и вдруг почувствовал боль от сильного удара; мне показалось, что я разломал шкатулку.

Каково же было мое удивление, когда я увидел, что под давлением моей руки отскочило дно и поднялось перпендикулярно к плоскости стола. Перед моими глазами открылась вторая, более глубокая, часть шкатулки, совершенно пустая: только на дне ее лежали какие-то ветхие серые листочки.

Это помещение было довольно большое, и у меня мелькнула мысль, не спрятать ли туда прокламации.

Взяв у жены листки, я распластал их и — о счастье! — они все поместились там.

«Но как же закрыть теперь этот тайник?» подумал я и вопросительно поглядел на жену.

Та мгновение тоже смотрела на меня и вдруг, как будто бы что-то вспомнив, подбежала к шкатулке и с силой опустила ящики: раздался глухой, но приятный звук, похожий на звук дрожащей пружины, и шкатулка приняла свой прежний вид.

Жандармы стучали в дверь изо всей силы. Чей-то голос отдавал приказание ломать дверь.

Я подбежал к двери и спокойным голосом спросил:

— В чем дело? Кто это ломится в квартиру?

— Открывайте! — гремело из передней, — иначе будем ломать двери.

— Да кто же там?

— Полиция!.. — ответили мне.

Я отодвинул засов, и в квартиру ввалилось человек десять жандармов и городовых под предводительством ротмистра и товарища прокурора.

— Я должен произвести у вас обыск, — крикнул ротмистр.

— Почему вы не открывали? — визгливым голосом пропищал прокурор.

— А почему вы ворвались, как свора бандитов? — спросил я.

Началась обычная вакханалия обыска.

Жандармы неистовствовали. Мало того, что обыскали меня, они привели какую-то лишенную человеческого лица женщину, обыскавшую и мою жену. Осмотрено было решительно все: постели, белье, книги, печки, посуда, самовар, платье и даже куча дров, лежавшая в кухне.

Осмотрели и шкатулку, ящички которой предусмотрительно открыла жена.

Обыск длился часа четыре. Предосудительного, однако, ничего не нашли.

Я потребовал ордер на производство обыска; ордер был налицо, и в нем значилось, что у такого-то и такой-то, на основании такой-то статьи положения об охране, по распоряжению губернатора необходимо произвести обыск и поступить по результатам.

Я возмущался и требовал занесения в протокол моих протестов. Жандарм отказался, а прокурор, ехидно улыбаясь, говорил мне:

— Куда вы спрятали прокламации, которые привезли сегодня утром?

Я еще более возмущался, а жандарм, угрожая мне, продолжал писать протокол.

Наконец, обыск окончился, и вся свора, даже не произнося обычных лицемерных слов извинения, вышла из квартиры.

— Ну, ловко! — сказал я, — съели!

— Подожди радоваться, — ответила жена, — они еще могут вернуться.

— Ну, нет, уж теперь они не придут.

Жена оказалась права. Минут через десять та же свора снова ввалилась в дом, и опять начался обыск. Но теперь жандармы, по приказанию ротмистра и прокурора, вызвали дворника с ломом и другими инструментами и попытались поднять доски полов. С большим трудом это удалось им в одной из комнат. Вместо прокламаций, они нашли там грязь и пыль да спугнули мирную семью мышей и разворотили их мышиное гнездо.

— Поздравляю с успехом, — сострила жена, — целое подполье открыли!

Составили снова протокол и с извинениями и смущенными лицами, наконец, удалились, захватив неизвестно для чего несколько легальных книг по экономике.

Теперь настала наша очередь торжествовать победу. Вечером прокламации были доставлены по назначению, а на утро, накануне первого мая, где только было нужно, прокламации были разбросаны и расклеены, и рабочие с удовольствием, читая эти листки, наблюдали перекошенные злобой лица жандармов и шпионов».

Этот рассказ и заставил меня назвать весь томик именем «Красной шкатулки».

Она находится у меня, вся набита рукописями, а в том таинственном отделении, о котором рассказал мне мой друг, лежит его переписка и дневник.

Что касается писем, то они вскоре будут опубликованы в наших исторических журналах, а дневник я решусь опубликовать только тогда, когда и этот второй томик мемуаров моего друга будет встречен по крайней мере так же благосклонно, как и «Революционные были».

Об издании же большого утопического романа, почти законченного моим другом, пока нечего и думать.

Как и прежде, я не расшифровываю ни имен, ни мест: таково желание моего друга. Это преждевременно, хотя старые друзья моего друга в некоторых фигурах, быть может и бегло, но метко охарактеризованных, легко узнают и умерших и живых еще наших товарищей.

Еще одно замечание. Читатель ни на минуту не должен забывать, что события, описанные здесь, это события далекого прошлого. Новое время принесло и новые песни, но и старые песни, как бы несовершенны они ни были, оставили свой след, и, слушая их, мы говорим: нынешнее время лучше потому, что, заблуждаясь и ошибаясь, мы стремились к этому лучшему.

НОЧЕВКА.

(Посвящается светлой памяти многострадальной Лены Нагурской).

I

... Я исполнял обязанности секретаря N комитета. Нельзя сказать, чтобы делал это я с большим увлечением. Город, где я жил, — типичный губернский город средней России, с числом рабочих не более двух тысяч (рабочий центр — железнодорожные мастерские), окруженный темным крестьянским морем и русскими грустными полями, с тихими, безлюдными улицами, с сияющими куполами монастырских церквей, неизбежной Московской улицей, самодуром губернатором, жандарским полковником Дыбой или Дзюбой, тремя пьяницами шпиками, — был скучен и однообразен. Шпики эти знали нас, комитетчиков, в лицо, мы знали их, что, конечно, не мешало нам печатать на гектографе прокламации и разбрасывать их, а жандармам периодически производить у нас обыски. Денег в комитете не было, работников тоже, и во что бы то ни стало нужно было привлечь свежие силы на смену нам, а нас перевести в другое место. По соглашению с центром, я доживал в N последние дни и, ожидая прибытия профессионала-подпольщика, мечтал о широком поприще в большом промышленном центре.

Мои товарищи по комитету завидовали мне. Ответственный пропагандист Петр Иванович Миловидов (конспира-

тивная кличка «Итальянец» — прозвище, полученное им за смуглый цвет лица и черные волосы), мрачно глядя в пространство и аккомпанируя на гитаре, напевал грустную песню. «Впереди их шел вождь, как весна, молодой, с голубыми, как небо, глазами...» меланхолично баском тянул он и выразительно посматривал на Лизочку Потемкину, курсистку, занимавшуюся пропагандой в кружке железнодорожников. «Итальянец» любил эту немножко легкомысленную, веселую и жизнерадостную девушку, а она, зная это и невольно кокетничая, не сводила глаз с ответственного организатора Глеба Звездина. Трудно было сначала даже вообразить, чтобы этот смешной, близорукий человек, не видевший без пенсне дальше своего носа, рассеянный и неловкий, мог исполнять обязанности, где точность и аккуратность стояли непременным и главным качеством. Однако это было так, и лучшего организатора я еще не встречал в своей жизни. Рассеянность и несуразность Глеба в обычной жизни доходили до самых невероятных размеров: ему ничего не стоило в самом изысканном обществе, вместо носового платка вынуть из кармана носок, надеть поверх летнего пальто короткую студенческую тужурку, выпить вместо воды уксуса, обмакнуть перо вместо чернильницы в стакан чая, словом, сделать столько несуразностей, что другого давно бы не пускали ни в один порядочный дом. Но Глеб был так строен, во всей фигуре его, изящной и вместе крепкой, в его милой улыбке, добродушном смехе было столько располагающей прелести и благородства, что каждому казалось, будто перед ним стоит истинный барич, балованный и выхоленный, а не мещанин города Екатеринослава. Большие знания и блестящее остроумие довершали очарование.

Несмотря, однако, на неподходящие качества к той роли, какую играл Глеб, он идеально выполнял свои функции:

более точного, аккуратного, даже до формализма, организатора было трудно найти.

Лизочка симпатизировала Глебу; это знал Итальянец, и это удручало его.

Зато Ксения Белова — только что окончившая курс гимназистка, толстая, приземистая, как тумба, с глазами навыкат, краснощекая и неповоротливая «Ксюша»—восторженно смотрела на Итальянца: он был ее кумиром. Она вообще большой роли в организации не играла и употреблялась, как острил Глеб, «на предмет переноски тяжестей». Ее из ряда выходящая физическая сила давала право комитету обращаться к ней тогда, когда требовалось перенести тяжелый шрифт, пуда два литературы, передвинуть тяжелую мебель и вообще выказать силу мускулов. Впрочем, ее квартира служила иногда ночевкой для приезжающих.

В комнате, где находились мы, сидели еще двое: один— тощий, сухой, изможденный, подслеповатый, высокий, с геморроидальным лицом — товарищ «Ива», Яков Андреич Слезкин, наш кассир (он же заведующий техникой), и коренастый, широкоплечий, с добродушным лицом и огромной седой бородой, Ефим Никанорыч Шмидт, русский немец, ни слова не знавший по-немецки и ведавший работой среди крестьян в уездах.

Ива был печален, как и полагалось кассиру, у которого касса всегда пустовала; а Шмидт глубокомысленно гладил свою бороду, изредка подавая односложные реплики, вроде следующих: «Да. Ни тае. Двистительно... В аккурат!» Впрочем, это не мешало Ефиму Никанорычу иметь большой ум и уменье обращаться с крестьянами.

Мы сидели на квартире у Лизочки и, распивая чай, обсуждали вопрос, как достать денег для предстоящей постановки подпольной типографии: слышались отдаленные раскаты грядущей бури даже в нашем захолустьи, работа

росла, и гектограф не удовлетворял массу. Денег, однако, не было, и товарищ Ива язвительно спрашивал:

— Кто дает? Кто даст хоть двугривенный? А надо для конспиративной квартиры, не нынче-завтра приедет профессионал, нужна литература. В кассе нет двугривенного.

Двугривенный, любимое слово Ивы, означало, что дела уж не так плохи: мы все знали, что если бы Ива сказал, «у меня нет ни одного франка», то было бы действительно плохо, а раз речь шла о двугривенном, стало быть в запасе у Ивы имелось рубликов пятьсот или шестьсот. Но деньги все-таки были нужны, и мы обсуждали вопрос, не организовать ли нам вечер с рефератом или докладом какого-нибудь адвоката о последнем политическом или аграрном процессе. Глеб юмористически изобразил, как Ива будет, как незримый дух, следить за тем, сколько кто уплатил за водку, чай, бутерброды, и как он на вопрос: «Хорошо ли идут сборы?» мрачно ответит: «Не соберем ни одного франка!»

Итальянец тренькал на гитаре, а Шмидт изредка вставлял:

— Водки побольше! Водки! Пускай жрут либералы, а ты дери с них по рублю за рюмку.

Лиза предлагала обязательно организовать хор и говорила Ксюше, не имевшей слуха:

— А тебя регентом, обязательно.

И обе беспричинно и весело хохотали.

В одном окне Лизиной комнаты была загнута занавеска, что означало: «безопасно, можно входить», хотя мы никого уже не ждали. В самый разгар наших споров раздался звонок; позвонили три раза, что означало, что идет свой.

— Кто бы это был?—спросила Лиза и побежала в переднюю.

Минут через пять она снова впорхнула в комнату, со смехом таща за собой Ивана Ивановича Розенфельда, у

которого было столько же кличек, сколько можно приставить русских слов к Розен: чаще всего его называли Розеннахт, Розендосвидания, Розеншляпа, потому что он имел обыкновение приходить почему-то всегда и повсюду ночью, когда уже все расходились. Действительно, Розенфельд принадлежал к числу тех людей, к которым лучше всего шла кличка «шляпа» — так он был несуразен, медлителен и неповоротлив. Специальностью его была расклейка прокламаций и доставка литературы в районы.

— А, Розеннахт! Розенпрощай! Розеншляпа! — раздались голоса при входе Ивана Ивановича.

Он, однако, вопреки своим привычкам, не ответил на эти приветствия шуткой, а важно подошел ко мне и, наклонившись к уху, прошептал: «Приехал... профессионал... на явке...»

Это было долгожданное и великое событие нашей жизни.

Посоветовавшись с товарищами, расспросив Розенфельда, нет ли у дома шпиков, мы порешили, соблюдая всякие предосторожности, привести товарища на собрание и заставить его поделиться новостями.

Отрядили с этой целью Итальянца, как самого строгого конспиратора.

— Ты же смотри, хорошенько обнюхай его, да проверь пароли, — сказал я на прощанье Итальянцу.

— Ладно! — пробасил Итальянец и исчез.

II

Товарищ профессионал назвался «Никодимом».

Все пароли у него были в порядке, и он не возбуждал никаких сомнений.

Это был человек лет тридцати, среднего роста, широкоплечий, в очках, придававших его пухлому лицу оттенок доброты и простодушия. Движения его были неловки и угло-

ваты, и вообще он производил впечатление чего-то несуразного, какого-то увальня, точно боявшегося, что он что-то опрокинет или разобьет в комнате.

Мы его усадили и стали расспрашивать. Скоро у нас нашлись общие знакомые и товарищи, и беседа приняла совершенно непринужденный, задушевный характер. Никодим приехал из большого города на время, чтобы, работая у нас в качестве профессионала, затереть следы и после работы у нас перекочевать в другое место. Он живо рассказал нам последние новости, осведомил о партийных делах и предположениях и почти ничего не расспрашивал о том, что делается у нас в городе. Это нам понравилось, и Итальянец с удовлетворением шепнул мне:

— Настоящий революционер и конспиратор.

Уважение к т. Никодиму увеличилось еще больше, когда он попенял нам за то, что мы собираемся вместе по-домашнему и распиваем чаи.

— Да, это верно, — заметил Глеб, — но у нас и жандармы действуют по-домашнему.

— Ну, нет, с этим согласиться нельзя, — ответил Никодим, — начнется большая работа, и вы увидите, как воспользуются жандармы вашей неконспиративностью.

С замечанием Никодима приходилось согласиться, и нам всем стало как-то неловко; чтобы прекратить поскорее ту натянутость, которая сразу возникла после замечания Никодима, я, обращаясь ко всем, сказал:

— Ну, товарищи, надо дать отдых гостю. Где мы устроим ночевку?

Глеб пошептался с Итальянцем, Лизой и Ксюшей и заявил:

— У Ксюши. А завтра мы устроим постоянную квартиру.

Это решение было правильно: за Ксюшей не следили, она жила на отлете; да, наконец, одну ночь, прокравшись

незаметно к дому, возможно было переночевать у Ксюши.

Перед тем как покинуть наше общество, Никодим тихо сказал мне:

— У меня есть письмо к вам от Х.

Он назвал имя, которое заставило меня встрепенуться: письмо от человека, которого я чтил, как вождя, одно слово которого было для меня законом, за кого я готов был отдать свой последний вздох.

— Хорошо, — сказал я, беря письмо, — пойдемте, я сам провожу вас на ночевку и прослежу, чисто ли кругом и нет ли слежки.

Стояла теплая погода, хотя осенняя тьма окутывала мир. На улице не было ни души, и маленький город спал мирным беспробудным сном.

Втроем — я, Ксюша и Никодим — мы быстро зашагали по темным улицам и минут через сорок очутились почти на краю города, на так называемом «Сторожевом бугре» — старинное название окраины, где в стародавние времена стояла Сторожевая башня, откуда наблюдали за кочевником-врагом, не подкрадывается ли он к городу.

Домик Ксюши стоял хотя и на горе, но за ним тянулся обширный сад, примыкавший к другим садам, спускавшимся к реке, Ксюша юркнула в незаметную в темноте калитку, мы двинулись следом за ней и, так же тихо, как она, поднявшись по лесенке, очутились в передней, а затем и в небольшой комнатке-столовой.

— Ну, вот! — сказала Ксюша, — вы посидите здесь, и я приготовлю. Только молчите, здесь спит мама.

Она скользнула в другую комнату, мы увидели вспыхнувший свет, и минут через десять она снова появилась и шопотом сказала:

— Готово.

Мы последовали за ней. Это была Ксюшина комнатка, маленькая, чистенькая девичья спаленка с маленьким сто-

ликом, заваленным книгами, беленькой постелью, двумя хромоногими стульями и небольшой кушеткой, приткнувшейся в углу.

Никодим должен был лечь на кровати, а Ксюша здесь же, на кушетке, так как вся квартира состояла из двух комнат, — Ксюшиной, той, где стояли мы, и другой, где спала Ксюшина мать, — да небольшой кухоньки.

Ксюша вышла, Никодим стал раздеваться, а я, подержав письмо над свечой, скоро увидел, как под влиянием тепла сначала неясно, а потом все резче и резче стали выделяться драгоценные для меня слова.

Мне писали о том, что ждут меня за границей, что я нужен для большой, широкой работы и что партия надеется на мой опыт и силы.

Я прочел письмо раз, другой, третий... Почти заучив его наизусть, я все же не хотел с ним расставаться, однако, смущаемый взглядом Никодима, я быстро придвинул листочки письма к пламени свечи... На мгновение комната осветилась ярким пламенем, бумага превратилась в черные испепелившиеся листочки, и, когда я взмахнул рукой, этот пепел рассеялся в воздухе.

— Ну, прощайте до завтра, — сказал я, — спите спокойно.

— До свидания, — прошептала Ксюша; — все будет хорошо. Я приведу его к вам вечером, а днем подумаем о квартире.

Взволнованный письмом, я быстро зашагал домой. Пылкое воображение мое рисовало мне самые причудливые картины: вот я мчусь за границу, вижу того, чьи строки я только-что сжег так безжалостно, слышу его милый голос, вижу его добрые прищуренные глаза и такую же добрую, хотя и хитрую улыбку; он рисует мне самые заманчивые перспективы, и я бросаюсь с головой в кипучую работу.

Довольно я гнил в провинции! Скорее на волю, на простор! Не ожидать же здесь, в этой дыре, того момента, когда схватят меня жандармы, и я, сопровождаемый кандальным звоном этапа, отправлюсь в темную даль ссылки.

Взволнованный радостной вестью призыва, я долго не мог уснуть в своей одинокой комнатке, окнами выходившей в старый тенистый, запущенный сад.

Открыв окно, я долго сидел и думал о том, как бы поскорее сдать дела приехавшему товарищу и навсегда распроститься с этим затхлым губернским городом, где даром гибнут силы и сохнет мозг.

Я уже собирался закрыть окно, как вдруг заметил, что в садовую калитку скользнула какая-то фигура.

— Что такое? — подумал я, — уж не обыск ли?

Но не успел я подумать, что мне делать, как услышал знакомый шопот:

— Владимир, вы не спите?

Это была Ксюша.

Я весь похолодел. «Какой ужас! — подумал я, — арестован!»

— Что такое? Обыск? — спросил я, — Никодим арестован?

— Нет, — прошептала Ксюша.

— Ну, так в чем же дело?

— Я не могу быть с ним... — прошептала Ксюша.

Долго я не мог понять, что привело Ксюшу глубокой ночью ко мне, долго я не мог заставить ее рассказать все толком и по порядку, долго она, путаясь и прерывая свой рассказ, говорила мне что-то несуразное и дикое.

Наконец мне стало все ясно и понятно, и я сказал себе мысленно:

«Проклятый город! Как болотная тина, засасывает всякого, кто попал в него».

III

На другой день вечером в безопасной квартире либерала заседал N комитет в полном составе. Собрание было экстренное и необычное: единственным вопросом порядка дня стоял вопрос о постыдном, некорректном поступке профессионала Никодима по отношению к товарищу, приютившему его в своей комнате.

Председательствовал тов. Ива.

На лице его, изможденном болезнью, змеилась улыбка Мефистофеля, и речь его пестрила необыкновенно официальными, вежливыми до ужаса, фразами. Он священнодействовал. Глеб для него был уже теперь не милым, хорошим Глебом, а товарищем ответственным организатором N комитета РСДРП, Миловидов не Итальянцем, а ответственным пропагандистом того же комитета, Никодим не просто Никодимом, а профессионалом-революционером, присланным ЦК РСДРП, словом, — Ива вполне вошел в роль судьи и таинственного и беспощадного трибунала.

Остальные товарищи имели также необычный вид: Итальянец хранил мрачное молчание, а всегда веселый Глеб усиленно морщил лоб, беспрестанно то снимал, то надевал пенсне и беспокойно ерзал на стуле. Русский немец Шмидт глупо улыбался и ни к селу ни к городу произносил свои любимые словечки, что вызывало необыкновенно вежливые, но сухие замечания т. Ивы:

— Товарищ представитель крестьянской организации, ваш цвишенруф неуместен.

Ксюша, красная как рак, сидела перед самым столом, за которым важно восседал т. Ива, а Никодим, мрачно потупив глаза в землю, грузно поместился на стуле в углу.

— Ну-с, — произнес Ива, — товарищ Ксения Белова, расскажите комитету все обстоятельства дела.

Ксюша заерзала на стуле, но ничего не сказала.

Ива многозначительно крякнул и добавил:

— Товарищ Белова, имейте в виду, что вами брошено тяжкое обвинение в лицо революционера, профессионала-революционера, облеченного доверием Цека партии, вы понимаете, Цека партии! Что же вы молчите? Говорите.

Ксюша еще более покраснела и начала:

— Да что рассказывать... Ужас один... Товарищ Никодим... да нет, я не могу.

Ксюша замолчала.

— Тов. Белова, — обратился к ней Ива, — не вынуждайте комитет напрасно тратить драгоценное время, задавая вам вопросы.

Ксюша сделала усилие и начала свой рассказ.

Дело было ясно и просто. Как только я ушел, Ксюша тихонько проскользнула в свою комнатку и, стараясь не разбудить гостя и не раздеваясь, улеглась на кушетке. Гость, однако, не спал. Услыхав шаги и возню Ксюши, он тихо обратился к ней с вопросом.

— Это вы, Ксюша?

— Да, я.

— Не спится что-то.

— О, извините меня, что я мешаю вам спать. Я сейчас усну, не беспокойтесь.

Но гость совсем не хотел спать. Он стал расспрашивать хозяйку о жизни в городе, о работе комитета, о том, что думает делать Ксюша, как ей живется. Мало-по-малу и Ксюша, движимая любопытством узнать, какова жизнь профессионала, стала задавать вопросы Никодиму.

— Все было так хорошо, товарищ Никодим так хорошо рассказывал о своей жизни, — говорила, запинаясь, Ксюша, — пока не дошло дело до того места, где говорилось о тоске одиночества. Товарищ Никодим говорил так хорошо, что я сказала: «Как мне жаль вас!» Но не успела я это

сказать, как он соскочил со своей постели, подошел к кушетке и сел подле меня.

Ксюша остановилась.

Ива, ядовито улыбаясь, спросил:

— Ну, а дальше что было?

— Ну, а дальше... дальше, — шопотом продолжала Ксюша, — он подвигался и вдруг говорит: «Разделите мое одиночество, и будем счастливы хоть на мгновение»... Потом обнял меня... а потом... потом... я как вырвалась, да как ударила его по щеке так, что руке больно стало, ну, и прибежала потом к Владимиру.

— Гм... гм... руке больно стало, говорите вы? — спросил Ива.

— Да, — ответила Ксюша и разразилась рыданиями.

— Двистительно... того... здорово... — заметил Шмидт.

Глеб фыркнул, а Ива, грозно взглянув на него, заметил:

— Товарищ ответственный организатор, ваше веселье неуместно здесь.

— Что вы скажете в свое оправдание, товарищ Никодим? — задал вопрос Ива.

Никодим сидел, мрачно насупившись. Его грузное тело точно вросло в стул; казалось, что он погружен в какую-то глубокую думу, не относящуюся к тому, что происходило в комнате.

— Товарищ Никодим! — крикнул Ива, — что вы скажете в свое оправдание?

Никодим очнулся. Он обвел мутным взором комнату и, заикаясь, начал.

— Все верно... Я только прошу понять меня. Сделал я это по глубокому моему убеждению, что здесь, в этом поступке, нет ничего преступного. Я свободен, Ксюша тоже... Отдаться друг другу разве преступление? Разве любовь только в спальне законного супруга?

Никодим долго излагал свои взгляды на любовь: он заявлял, что современный брак — ложь и что было бы больше счастья, если бы чувство физического влечения, без которого нет любви, удовлетворялось тотчас же, как только возникло. Это чувство — как голод, как жажда, как любое физиологическое влечение; не удовлетворить его значит страдать, а зачем страдать, если можно быть счастливым.

Я видел, какой ужас выразился на лицах всех присутствующих, и я не сомневался уже в исходе нашего суда. И вот, пытаясь смягчить суровый приговор, ожидавший Никодима, я решил своим выступлением поправить дело.

— Допустим, — сказал я, — вы правы. Но я глубоко убежден, что ваши воззрения предполагают вместе с тем, что, как только вы сошлись с девушкой, она становится вашей женой. И, думая... стать мужем Ксюши в эту ночь, вы, конечно, намерены были и дальше жить с ней?

— Нисколько! — живо ответил Никодим, — это могло быть, но могло и не быть. Поймите меня: любовь свободна. Она возникает внезапно, длится некоторое время и внезапно исчезает. И потом, может быть, я не удовлетворил бы Ксюшу. Поймите меня, любовь — как голод... а я так был голоден!

Эта последняя фраза погубила Никодима. Ива вскочил, как ужаленный змеей, все товарищи зашумели и заговорили. Только Никодим был угрюмо спокоен и с удивлением смотрел на всех нас.

— Товарищи! — обратился к нам Ива, — все ясно, и комитет должен вынести свое решение.

Никодима и Ксюшу попросили выйти в другие комнаты, и начались прения. Прений собственно не было, так как через пять минут все согласились на том, что ни в летописях нашей организации, ни в наших обычаях, ни в наших нравах поступок Никодима не находит оправдания, и что комитет отказывается от его революционной работы. Одна-

ко вызвало большие прения предложение Ивы написать в центр, что комитет считает единственно правильным исключить Никодима из партии навсегда, о чем и оповестить все организации. После страстных прений, мнение Ивы восторжествовало. Он написал резолюцию и, когда началось снова заседание, он, обращаясь к Никодиму, сказал:

— N комитет РСДРП, рассмотрев все обстоятельства дела, касающиеся гнусного предложения именующего себя Никодимом профессионала-революционера, присланного Цека на работу в г. N, констатирует, что, во-первых, это гнусное предложение именующего себя Никодимом следует рассматривать как попытку изнасиловать девицу, товарища Ксению; что гнусность поступка усугубляется фактом использования революционного гостеприимства; что подобный образ действий порочит доброе имя революционера и вносит разложение в ряды борющегося пролетариата, и, во-вторых, что подобный образ действий, по сознанию самого именующего себя Никодимом, вытекает из его убеждений, от которых он не находит возможным и даже считает лишним отказаться. Принимая все вышеизложенное во внимание, а также обстоятельства, выяснившиеся при рассмотрении дела, N комитет постановляет: считать поступок именующего себя Никодимом недостойным революционера социал-демократа, позорящим революционную социал-демократию, вносящим разложение в ее ряды и тем самым ослабляющим ее революционную борьбу с классовым врагом пролетариата; а потому отказаться от услуг именующего себя Никодимом, направить его в распоряжение Цека, одновременно возбудив ходатайство об исключении Никодима из партии навсегда.

Ива прочел это постановление каким-то замогильным голосом и добавил:

— Вы, конечно, можете опротестовать наше решение. Заседание окончено.

Я едва успел сказать Никодиму несколько слов о том, что я назначаю ему свидание за городом, в саду городского питомника, на боковой аллее с бюстом Пушкина, и что там я и выдам ему вместе с постановлением фальшивку и деньги на дорогу.

На другой день в три часа дня я прогуливался по аллее городского питомника. Стоял один из тех чудных осенних дней, когда все — и ласковое, горячее солнышко, и синее бездонное небо, и нежный, как прикосновение руки любимой женщины, ветерок, и паутинка, щекочущая лицо, и ярко зеленые ели, и уже почти оголенные, но еще облитые золотом березки, и запах прелых умирающих листьев, и немного влажная земля, и яркая зелень травы, — все, решительно все говорит о невозвратно ушедшей роскоши лета. В воздухе и во всей природе, именно в природе, разлито какое-то особенное, свойственное таким осенним дням чувство какой-то жали, той древнерусской «туги», какой болели наши предки, когда им приходилось мучиться и страдать за милую родину. В душе моей тоже царило непонятное смутное состояние: я волновался, сердце мое то замирало, то тихо ныло, и безотчетная грусть охватывала мое существо.

В кармане у меня лежала фальшивка и деньги, приготовленные для Никодима. В сущности произошла какая-то глупость: человек не мог справиться со своими страстями, а девушка не сумела высмеять и насмешкой охладить пыл здорового самца. Я подходил к явлению как естественник, забывая те нравы и обычаи революционной среды, где вырос и я. Но как только я рисовал в своем воображении фигуру Никодима в этой нашей среде, я понимал, что Никодиму в ней нет места. Так я ходил, одинокий, по аллее питомника, ожидая изгнанного из наших рядов товарища, и досадовал, что его нет. На моих часах стрелки показы-

вали три с половиной, и я начал нервничать. Никого в этом пустынном месте не было; только вдали, там, где у круга сходились аллеи, с лейкой и рукавом возился садовник, поливая поздние осенние цветы.

Я прошел вглубь боковой аллеи, так как мне показалось, что мелькнула какая-то сутуловатая фигура. Но это, очевидно, был обман зрения: качалась ель, тихонько размахивая своими ветвями.

Было невыразимо хорошо. Вдали стояли почти оголенные березки, а за ними густели зеленые сосны, и оттого, что они были в листьях, они казались темнее, и березки как-то радостно выделялись на их темном, почти мрачном фоне, все прозрачные, все беленькие в этом прозрачном, пронизанном лучами воздухе. Чирикали воробьи, и в их беспорядочном крикливом гаме изредка выделялся нежный голос какой-то пичужки.

Вдруг справа от меня раздался сухой, разрывающий воздух треск; я бросился в чащу и остановился в остолбенении: раскинув руки, на смятой траве лежал Никодим. Направо от него валялся браунинг, и небольшая струйка крови сочилась на груди у сердца. Глаз его я не заметил, так как роговые очки скрывали их, и потому казалось, что этот грузный человек лег отдохнуть и, упоенный воздухом и солнцем, раскинул руки. Я наклонился к нему; сердце не билось, — он был мертв. А на круге уже поднялась суматоха: что-то кричали, кто-то бежал по направлению выстрела. Я быстро спустился в овраг и потерялся в чаще.

Когда я поднялся на гору, чтобы выйти на дорогу к городу, передо мной развернулась изумительная картина.

Направо, насколько хватал глаз, расстилались желтеющие поля, и среди них, сверкающая, как клинок, блестела речка; прямо передо мною ютились домики предместья, утопавшие в зелени, а налево, поднимаясь с низины, тя-

нулся питомник — весь зеленый, желтый, золотой, трепетавший под ласковыми горячими лучами осеннего солнца. Бездонное небо сияло в своей голубой вышине, и торжественная тишина царила кругом.

Бесстрастная природа справляла свой праздник.

БУКВА Z.

(Эпизод из времен первой русской революции).

М. В. Алтаевой.

Реакция уже торжествовала. Уже обнаглели шпионы «его величества» и по пятам ходили за нами; уже приходилось скрывать наши важнейшие собрания; уже в нас, как только мы пытались попрежнему выступать открыто массами, постреливали казаки, и мало находилось охотников пожинать лавры агитатора; уже тысячи наших лежали в безвестных могилах, сидели в каторжных тюрьмах, гнили в Сибири и находились на чужбине; уже чувствовалось в нашей работе больше неудач, тяжести, опасности и неприятностей, чем легкого и веселого успеха победы и достижений. Но работать все же было необходимо. И чем больше неудач, препятствий и неприятностей встречала наша работа, тем настойчивее и настойчивее становились мы, еще уцелевшие борцы, дети великого года бури и натиска.

Мне и моему другу Васе Великанову, слесарю одного из петербургских заводов, предстояло закончить неприятнейшее поручение районного комитета N заставы нашей рабочей организации. Загоняемые все больше и больше в подполье, неделю назад мы убедились, что один из наших товарищей, рабочий Максимов, оказался провокатором. Доказательство было неопровержимое. На собрании комитета, в сутолоке и тесноте маленькой рабочей квартирки, секретарь комитета поднял на полу записную книжку Максимова, в которой были обнаружены записи, свидетельствовавшие о

несомненной службе нашего «товарища» в охранке. Все было ясно до ужаса: в книжечке записывались наши клички, адреса, пароли, разговоры, конспиративные квартиры, планы наших предприятий, транспорты оружия и бомб. Теперь стали понятны и наши провалы последних шести месяцев, когда четверо лучших наших боевиков погибли на виселицах, а человек десять получили долгосрочную каторгу. Взвесивши все данные, комитет приговорил Максимова к смерти и постановил — это решение выполнить мне и Великанову. Мы повиновались беспрекословно. Решено было совершить казнь немедленно, пригласив Максимова на свидание и предъявив ему сокрушающие его улики. Я и Великанов точно так же, как и Максимов, состояли в боевой дружине, и потому нам не стоило большого труда без всякого подозрения назначить Максимову свидание в небольшой рощице, примыкавшей к нашему району. Предполагая, что Максимов может незаметно для нас привести с собой своих помощников, мы назначили нарочно самое глухое место, куда почти никто никогда не заглядывал.

— Ты будешь допрашивать, — сказал Вася, собираясь в дорогу, — а я уж в случае надобности сделаю все, что нужно.

Вася Великанов был веселый, жизнерадостный малый лет двадцати, до фанатизма преданный революции, не знавший компромиссов, любимец всего района и особенно детишек, с которыми он до самозабвения любил возиться, как только к тому являлась возможность.

Идя с ним рядом, я смотрел на него, и мне казалось диким и странным, что вот этот милый, хороший мальчик, чуть ли не проливавший слезы при чтении «Андрея Кожухова», готовый каждую минуту положить «душу свою за други своя», отдававший последнюю копейку нуждающемуся товарищу, что вот этот милый, добрый и веселый человек через несколько минут выпустит пулю в такого же, как

сам, молодого, не думающего о смерти человека. Мне казалось это диким и странным в особенности потому, что Вася был сегодня особенно приподнят и жизнерадостен, полон энергии и силы.

— Вася, — сказал я, беря его за руку, — не ограничиться ли нам сегодня только предварительными расспросами, а?

— Да ты что, белены объелся? — спросил меня Вася.— Что же думаешь, — Максимка дурак что ли? Что же, если верно, что он провокатор, он так вот и простит нам допрос? Сегодня же мы будем в тюрьме, миляга. Да ты что, испугался что ли?

— Да нет, — ответил я, видя, что и впрямь мое предложение бессмысленно и даже глупо, — я так... неприятно, брат, человека убивать-то.

— А ты не думай, — ответил Вася и вдруг, грубо выругавшись, в упор посмотрел на меня и сказал: — так что ж, по-твоему, пускай из-за одного погибают сотни? Кислятина ты, вот что!

Петербургский зимний день близился к концу. Багровое солнце садилось, и в его огненных лучах купались заводские здания, трубы, облака и рощица, все разубранная снегом и инеем. Мы вошли в рощу и скоро, свернув с проезжей дороги, очутились на узкой тропинке, ведущей в чащу. Минут через десять мы остановились в заранее условленном месте у огромной сосны, где и сели на пне срубленного недавно дерева.

Ждать нам пришлось недолго; раздался слабый свист, Вася ответил на него, и оба мы, как бы по команде, ощупали свои браунинги. Послышался скрип, и из-за деревьев выглянула фигура Максимова.

— Вася!

— Андрей!

— Здравствуйте, товарищи! — сказал, протягивая нам руку, Максимов.

При свете слабо проникавших сквозь чащу багровых лучей его подслеповатое лицо, обросшее рыжими волосами, показалось мне отвратительным. Бегающие глаза и заискивающая улыбка почему-то казались мне тоже как бы подтверждением предательской души провокатора.

— Ну, как дела? — спросил Максимов, обращаясь ко мне и усаживаясь на пень.

Он вынул серебряный портсигар и предложил мне и Васе папиросы. Я взял, а Вася, отклоняя руку Максимова и глядя ему в упор, тихо, но решительно сказал:

— Вот что, Максимов. Не до папирос нам теперь. Комитет обвиняет тебя в провокации, и вот я и Владимир (Вася указал на меня) уполномочены допросить тебя. Говори всю правду.

Как только Вася произнес слово «провокация», Максимов попытался подняться, но Вася, зорко следивший за ним, бросился на него и схватил его за руки.

— Бери револьвер! — скомандовал мне Вася, — а ты, собака, если пошевельнешься и крикнешь, так и всажу все семь пуль в тебя.

Под тяжестью Васиного тела Максимов упал навзничь, а я, быстро нагнувшись, вынул из бокового кармана его пальто револьвер.

— Ищи, — сказал мне Вася, — ищи книжку.

Я стал шарить в карманах Максимова и скоро вытащил новенькую книжечку, похожую на ту, что была у меня в качестве улики.

При свете погасшего дня я с трудом разобрал новые записи и скоро нашел среди нескольких адресов и кличек и мой и Васин адрес и приметы.

— Садись, собачий сын, — сказал Вася, — да если вздумаешь хоть пошевелиться, — прикончу немедленно.

Максимов и не думал бежать. Он вдруг бросился ко мне и, схватив меня за колени, стал всхлипывать каким-то детским визгливым голоском:

— Простите, товарищи... простите... голод... жена... вешалка... простите...

— Так что правда? — спросил почти шопотом Вася.— Читай, Владимир, его первую книжку и покажи ему...

Но читать было не к чему. Как только я вынул книжку, найденную секретарем, Максимов завизжал и застонал и, теперь инстинктом чувствуя главного врага в Великанове, бросился к нему и, целуя его ноги, шептал:

— Простите... не губите... не буду... Христом богом молю, простите...

Он наклонился и целовал грязные калоши Василия.

— У, предатель проклятый, — прошептал Вася и, быстро вынув браунинг, наставил дуло в затылок и выстрелил.

Звук двух выстрелов гулко отдался в роще.

Максимов упал ничком в снег. Он не испустил ни одного стона или крика, только левая нога его два раза судорожно метнулась и успокоилась.

— Готов, — прошептал Вася. — Идем скорей. Слышишь, кто-то спешит на выстрелы.

Действительно, слышались шаги нескольких человек, спешивших к месту происшествия.

— Я так и знал, — прошептал Вася, — он привел с собой охранников. Жарь напрямик к заводу, там махнем через забор и укроемся у Мишки Звонарева.

Мы бросились бежать, и хорошо сделали, потому что не успели мы скрыться в глубине рощи, как вслед за нами раздался сначал свист, потом блеснул огонь, и треск винтовочных выстрелов разнесся по лесу. То стреляли казаки, разъезд которых поспешил на выручку Максимова.

Однако мы хорошо знали дорогу, были молоды и сильны, и не прошло пяти минут, как мы уже находились у высокого заводского забора. Разогнавшись, мы вскочили на него.

— Фу, чорт, — воскликнул Василий, — у меня сорвалась калоша!

— Чорт с нею! — ответил я, — прыгай! Что, тебе калоша дороже жизни?

Вася прыгнул, и мы, пробравшись заводским пустырем и снова перескочив через другой забор, как ни в чем не бывало шли по Заводской улице, наполненной рабочими, спешившими под шум гудков по домам.

— Завернем к Мишке Звонареву, — сказал Вася.

Минут через пять мы уже сидели у товарища по комитету, Михаила Звонарева, и под шум самовара рассказывали о том, как выполнили поручение Комитета.

Михаил Михайлович Звонарев, рабочий литейного цеха, отец многочисленного семейства, человек лет сорока, убежденный социал-демократ большевик, поражал всех своих товарищей своей начитанностью и оптимизмом.

Прекрасный организатор, он не отличался ораторскими способностями, и товарищи добродушно подсмеивались над ним всякий раз, когда он пытался выступать, путаясь в длинных фразах, которые он считал обязательным свойством ораторского искусства. Зато всеобщая любовь была наградой Звонареву за его отзывчивость и особенное его свойство — уменье ободрить и утешить товарища, в каком бы тяжелом положении тот ни был.

Единственный кормилец своей семьи, он вечно бился в тисках нужды, но это не мешало ему не только лично переносить невзгоды жизни, но и семье и товарищам внушать какую-то неистребимую бодрость и надежду. Его пример, его стойкость во время забастовок и борьбы с начальством, его защита обиженных и ободрение, которое он вносил в ряды колеблющихся, его честность и прямота снискали ему

безграничное уважение всех и были причиной как того, что он был бессменным представителем мастерской, так и того, что решительно всегда, во время любого протеста рабочих, он первым попадал в тюрьму.

Звонарев только-что вернулся из мастерской и, стоя у умывальника, добродушно слушал мрачный рассказ Васи.

— Здорово вы его! Чисто обделали дело... — говорил Звонарев и посмеивался, когда Вася, тыкая в меня пальцем, рассказывал, как я, по его мнению, «распустил нюни».

— Интеллигент... — презрительно говорил Вася.

— Ну, это ты зря! — возразил Звонарев, — убить, брат, человека, хоть он и провокатор, нелегко... Однако чисто ты его... молодец, Вася.

— Только вот калошу потерял... — сказал Вася.

— Ну, и шут с ней, — ответил Звонарев, — оставь другую у меня, вот и весь сказ.

Мы еще долго делились своими впечатлениями и, только вдоволь наговорившись, часов в десять разошлись по домам.

Выйдя из ворот Звонаревского дома, мы разошлись в разные стороны. Вася юркнул в темный переулок напротив, а я, как ни в чем не бывало, направился к городу.

Район шумел. Весть об убийстве провокатора уже облетела все предместье. Ко мне то и дело подходили товарищи рабочие и спешили поделиться свежею новостью. На мой вопрос: «а не нашли ли убийц?» рабочие весело свистали, как бы говоря: «ищи ветра в поле!» Я, посмеиваясь в душе, выслушивал всякого рода подробности о совершившейся казни и радовался, что нам так легко удалось выполнить постановление.

Власти неистовствовали, ища убийц. У Васи был обыск, но так как никаких улик против него не было и ничего запрещенного у него не нашли, то его оставили на воле. Опасаясь за него, организация просила товарища инженера отправить его в командировку в числе большой партии ра-

бочих, отправлявшихся в Николаев на судостроительные верфи. Вася уехал, а я, спокойный за него, попрежнему, как ни в чем не бывало, ходил в район: товарищи в комитете были надежные, и опасаться было нечего.

Недели через две после происшествия я и секретарь района, та самая Варя, что нашла книжку, уличившую Максимова, весело шли под вечер по тракту: я направлялся на собрание, где предстояла словесная борьба с социалистами-революционерами, а Варя несла штук пятьдесят небольших бомб, искусно спрятанных за корсажем. Наша тиуая и скромная Варя уже давно тяготилась должностью секретаря и давно просилась на боевую работу. Просьбу ее уважили, и теперь она деятельно работала в мастерской по изготовлению бомб, образцы которых и несла на такую-то квартиру, чтобы раздать товарищам отчасти для испытания, отчасти для вооружения дружины. Бомбы я эти видел: маленькие блестящие цилиндры, они напоминали большой величины наперстки, но сила взрывчатого вещества их была сокрушительна.

— Варя, — сказал я ей, прощаясь, — будьте осторожны. Я химик и знаю, как опасно обращение с этим материалом.

— Не беспокойтесь, Владимир, — ответила она, — бомбы ударные.

Я посмотрел на Варю. Ее молодое личико, покрытое нежным пушком, смуглое и немного наивное, добродушно улыбалось и светилось какой-то грустью и вместе с тем радостью.

— А знаете, Володя... — сказала Варя и покраснела,— мне почему-то не хочется расставаться с вами.

Я с удивлением взглянул на Варю и, полагая, что она опасается, не следит ли кто за нею или за той квартирой, куда она идет, предложил проводить, предварительно обследовав, все ли чисто кругом.

— О, нет, — ответила Варя, — мне просто грустно. Проводите меня немного.

Мы пошли. Я молчал, а Варя оживилась и без умолку болтала.

— Знаете, Владимир, — щебетала она, — я из бедной еврейской семьи. Отец и сейчас работает заготовщиком. Он старый и суеверный. Верит в то, что евреи терпят за грехи отцов, что придет мессия и что нужно терпеть и оставаться верным заветам прошлого. Мать моя умерла давно, и я и сестра выросли с отцом. Старшая сестра Маня вышла замуж за торговца железным ломом, живет сносно, и отец постоянно ставит мне ее в пример как послушную дочь и верующую в бога еврейку. Но он не любит ее за жадность и пустоту. А меня любит и рад, что я учусь. Вчера я получила от него письмо; он пишет, что все люди — братья и их нужно любить, и что нехорошо бороться с правительством и стрелять друг в друга. Он пишет еще, что настанет время, когда все люди это поймут, и тогда будет царство божие на земле. Как вы думаете, Владимир, будет такое время, когда не будет погромов, наций, религий, рас, люди будут любить друг друга так, просто потому, что любится, и все будут счастливы?

— Конечно, будет, — ответил я с убеждением, что это время действительно не за горами.

— А вы, Владимир, — спросила опять Варя, — любите таких людей, как мой отец?

Я с удивлением взглянул на Варю и ответил:

— Я... люблю, конечно... да... нет... Варя, я не думал об этом.

— Вы хорошо сказали, благодарю вас, что вы не солгали, — прошептала Варя.

— А еще он пишет, мой глупый, милый старичок, — продолжала Варя, — он хочет, чтобы я скорей была доктором, вышла замуж и... чтобы он имел внука. Впрочем, я

болтаю глупости, прощайте, Владимир, — вдруг изменившимся голосом сказала Варя и, крепко пожав руку, скрылась в переулке.

Мне почему-то стало грустно. Кусочек чужой души носил я теперь, и мне было горько, что не нашлось у меня слов и тепла, чтобы в его лучах согреть и успокоить метущийся ум и какое-то неведомое горе.

На собрании было шумно. Оратор эсер громил социал-демократов за «нищенские отрезки, подарок, который, как добродетельные и верные ученики своего учителя, посулили социал-демократы крестьянам». Эсэр призывал громы и молнии на головы социал-демократов, красноречиво призывал к террору и насмешливо пророчил нам судьбу либералов. Эсэр был стройный молодой человек, жгучий брюнет, блестящий оратор, и сонм жен-мироносиц с восторгом внимал его речам.

Я вступил в бой. Фабричный сарай был набит до отказа, и я, чтобы моя речь была слышнее, взобрался на какой-то старый верстак и пускал оттуда свои стрелы в противника.

Вдруг, в самый разгар моей речи, раздался крик:

— Товарищи, полиция!

Началась суматоха. Жены-мироносицы засуетились, думая о спасении своего оратора. Мои товарищи шепнули мне, что сарай окружен войсками и что спастись не удастся. Я порвал все, что у меня было компрометирующего, освободился от всего лишнего, и стал ждать своей участи; вид у меня был рабочий, фальшивый паспорт превосходный, на квартире чисто, и я был покоен.

Часа через три я в числе прочих шагал по направлению к одному из полицейских участков, чтобы затем отправиться в тюрьму.

Засел я основательно. Это был полный разгром наших организаций. Арестованы были почти все. Готовились высылки на север, в Сибирь, процессы, смертные и каторжные

приговоры. Сношения с товарищами и в тюрьме и на воле были очень затруднительны, и я искренно обрадовался, когда месяцев через шесть мне об'явили, что я должен отправиться этапным порядком в административную ссылку.

Радость моя проистекала еще и оттого, что теперь я имел общие прогулки с высылаемыми товарищами.

Поздней осенью, выйдя на прогулку, я средь шумной толпы товарищей вдруг заметил широкие плечи и грудь Васи Великанова. Я бросился к нему и повис на шее.

— Васька! милый! — крикнул я... и вдруг остановился. Вместо жизнерадостного, прекрасного, как май, сильного, полного энергии и мощи Васи — смотрело на меня хмурое, измученное лицо страдающего неизлечимым недугом человека.

— Вася! — болезненно прошептал я.

— Ничего, Владимир, — ответил он, — пойдем погуляем.

Я не помню тех слов, что говорил мне Вася; возвращаясь в тюрьму, я бережно, спрятав за пазуху, нес небольшой лоскуток бумаги.

Придя в камеру, я вынул его и прочел.

«Дорогой мой товарищ Василий!

Вышло так, что умирать нужно. Собаки проклятые, враги рабочего пролетариата, приговорили к смерти. Так что собирайся, Михаил Звонарев, в дальнюю путь-дорогу за наше общее дело. Говорят, что это я убил предателя и пса Гаврюшку Максимова. Да, я убил, как и моя была воля и желание разделаться с предателем нашей солидарности, а кто стрелял, так это дело постороннее и меня не касающее. Пожил довольно и умирать буду, как подобает, значит, нам, пролетариям. Прошу об одном, не оставьте детишек, да чтоб помнили отца, за что и как, значит, помер: жил Михаил Звонарев честно; за товарищей, за наше обчее дело голову сложил, чтоб и они честно жили и, ежели что, чтоб

и они так, как и отец, померли. Прощай, Вася и все дорогие товарищи. Да передай хозяйке моей Матрене, чтоб избу в деревне продала. На что ей? Пахать не будет, а Кольку на завод можно. Тут денег рублей семь у меня, тоже хозяйке передать нужно. Прощайте, милые, и дело наше общее не забывайте, а я палачам в глаза плюну: дело кровью политое, верное. Прощайте, товарищи, и помните».

Письмо было нацарапано какими-то каракулями, карандашом, и я с трудом разобрал его.

Когда на другой день я встретился снова на прогулке с Василием, он кратко объяснил мне, что, придя с обыском к Звонареву, шпионы наткнулись на калошу с буквой Z, ту самую калошу, которую оставил Вася у Звонарева, когда мы забежали к Михаилу после казни Максимова. Вася почему-то носил на калошах буквы не своих инициалов, а чужие; я ему посоветовал поставить французские W или Z; он прибил последнюю.

Это послужило достаточным доказательством для смертного приговора.

Возвращаясь в камеру, я передал письмо Васе. Он бережно сложил его и поцеловал; слезы текли по его лицу. Я отвернулся и зашагал в тюрьму.

ГРЕШНЫЕ ДЕТИ ЗЕМЛИ.

(Памяти С. П. Данилова).

I

Я приехал в Петербург на другой день после великих событий. Вулканический взрыв пролетарского движения чувствовался во всем. Улицы были запружены войсками, гремели колеса артиллерии, раз'езжали казачьи патрули, горели костры, и в дыму и тумане подле них прыгали фигуры пытающихся согреться солдат. Столица напоминала город, занятый неприятелем, так как, кроме солдат и офицеров, на улицах не было почти никого: изредка попадались извозчики да одинокие прохожие, пугливо пробиравшиеся домой. Шикарные магазины не сияли, как всегда, и в окнах домов была тьма.

Провожаемый пытливыми взорами шпионов, десятками маячивших на вокзале, я быстро направился по Невскому. К моему огорчению, на явочной квартире зубного врача мне заявили, что хозяина нет дома и что вернется он не раньше, как через месяц. Испуганное лицо горничной говорило как раз обратное, но делать было нечего, и, выйдя на улицу, я в раздумьи направился вдоль Литейного проспекта. Положение создалось нелепое, ибо, кроме этой неудачной явки, у меня не было ни души знакомой в Петербурге. Я без цели шел к Неве, как вдруг прямо передо мной выросла черномазая фигура Никиты, моего молодого товарища и друга, студента Московского университета, перешедшего недавно на нелегальное положение. Хотя это и запрещалось

правилами конспирации, делать было нечего, и я бросился к Никите.

— Коля! какими судьбами?

— Не судьбами, а волей ЦК, — ответил улыбаясь Никита.

Через пять минут разговора я узнал, что и Никита направлялся заграничным центром на работу в столицу, и что он, так же, как и я, идет на зубоврачебную явку. Мне пришлось разочаровать Никиту и с нескрываемым удовольствием наблюдать его растерянное лицо. Однако нужно было что-нибудь предпринять: ни у него, ни у меня не было денег, хотелось есть, требовался отдых и, стало быть, пристанище. Долго мы ломали головы и, наконец, вспомнили, что в Петербурге должен быть наш общий знакомый, молодой поэт, уже завоевавший своими лирическими произведениями имя среди подающих надежды беллетристов.

— Идем, — сказал Никита, — Борька, кажется, все на той же старой квартире.

Мы повернули назад, направились по Невскому и скоро очутились на Греческом проспекте у небольшого трехъэтажного дома. К величайшему нашему удивлению, ни дворника, ни шпиона у ворот не было, полуоткрытая калитка была закреплена цепочкой, и мы беспрепятственно вошли в подъезд и при свете спички прочли номер квартиры поэта. Квартира оказалась во втором этаже, и, к нашему удивлению, на лестнице квартиры тоже было пусто. Трудно описать нашу радость, когда после нашего звонка, в ответ на наш вопрос, открылась дверь, и в ней показалась несуразная фигура Борьки.

— Колька! Владимир! — завопил неистовым голосом поэт, но мы зажали ему рот, ввалились в квартиру и в двух словах объяснили, в чем дело.

Разумеется, Борис с радостью согласился дать нам приют, успокоил насчет слежки, объяснив, что дом, где мы

находимся, принадлежит какому-то монастырю, чем и объясняется отсутствие полицейского надзора.

— Дворник вечно пьян; предполагается, что он должен сидеть у ворот, но он, накинув калитку на цепочку, по целым дням пьянствует с дежурным околоточным надзирателем, и потому мы благоденствуем. У меня часто бывают собрания ПК и даже с членами ЦК. Но это пустяки, теперь таких собраний у меня не предвидится, так как только два дня назад здесь собирались. Ну, располагайтесь, как дома. Я вас сейчас накормлю.

Было уже часов семь вечера, и мы действительно проголодались. Борька оделся и выскочил из квартиры. Я осмотрелся.

Квартира нашего поэта состояла из двух небольших комнат — гостиной и спальни. Но что это были за комнаты! Некогда богатые штофные обои висели во многих местах клоками; небольшая люстра, вся загаженная мухами, покривилась на бок, и, как флаг, с нее спускалась полосатая рубаха; кресла, обитые бархатом, были засалены до того, что боязно было сесть на них; на столе, заваленном книгами, стояли грязные тарелки с остатками еды и застывшего сала, а на диване в поэтическом беспорядке валялись старые штаны, подтяжки и дамские панталоны. Вторая комната — спальня — представляла еще более хаотический беспорядок: постель производила впечатление только-что происшедшего на ней землетрясения, так все — одеяло, подушки, простыни — спуталось в какой-то бесформенной куче: дверцы умывальника были раскрыты, и грязное ведро наполняло комнату неприятным запахом; платяной шкаф с одной дверцой покосился на бок и зиял своей пустотой; на ночном столике стояла чернильница, валялась ручка и клочки исписанной бумаги, а в углу расположилась батарея бутылок.

— Ну, вот и еда, мои милые! — крикнул Борис, вбегая в комнату с пакетом в руке и с двумя бутылками пива.

Вскипятив чай на спиртовке, Борис радушно принялся угощать нас. Пока мы ели ,он без умолку болтал. Его длинная, тощая фигура, его впалые щеки, его лихорадочный румянец и блестящие глаза ясно говорили о том, что дни его сочтены. Но он весь горел. Не принадлежа к партии, он сочувствовал движению и отдавал на революцию почти все, что зарабатывал. Ненавидя дисциплину, он с энтузиазмом выполнял самые рискованные поручения. Но помогая партии, жертвуя ей деньги и отказывая себе в ущерб здоровью, он любил поэзию и стихи больше всего на свете.

И теперь, стоя перед нами, он, как птица, махал руками и говорил так, что его речь скорее была похожа на пение.

— Ну, подумайте, такая красота в этом выступлении, такая красота!

— Хороша красота, — ответил Никита, — пули уложили тысячу человек.

— Нет, ты послушай, послушай:

Шумел народ, звучали трубы,
Но средь лиловых дымных струй
Ее коралловые губы
Мне обещали поцелуй.

В ее груди зияла рана,
Как алых губ ее коралл,
А я свободе пел «осанна»,
Слагая в честь бойцов хорал.

В кошмаре смерти умирала
Моя любовь, и свой закон
Жизнь на обломках воздвигала
Средь окровавленных колонн.

Молчал народ, молчали трубы,
В предместьях рос великий гнев.
И к мести зов шептали губы,
Как ободряющий напев.

— Ах ты, шут гороховый, — ответил Николай, — народ умирает сотнями в борьбе за свободу, а ты слагаешь дурацкие жалкие стишки...

Борис не обиделся, а только жалко улыбнулся и прошептал:

— Я тоже был с народом... вот видишь...

Борис снял пиджак, расстегнул рубаху, и мы увидели огромный синевато-багровый кровоподтек на его левом плече.

Никита сконфузился и теперь, как бы оправдываясь, заметил:

— Ну, зачем ты-то полез в драку?

— Чем это?

— Шашкой.

Утолив голод, мы посовещались втроем и решили, что Никита попытается устроиться на ночлег в другой квартире, куда его отведет Борис, а я останусь у поэта. Условившись с Борисом, что я вернусь к нему часов в десять, я решил побродить по городу и, простившись с Никитой, вышел из квартиры.

Теперь город был еще мрачнее; меня, правда, не останавливали, но подозрительные взгляды точно щупали вас, а патрули, то и дело проезжали мимо, казалось, готовы броситься на вас и арестовать. Рабочих не было, и я решил пройти к Невской заставе. Здесь войск было еще больше, и, дойдя до Александро-Невской лавры, я решительно повернул назад, так как мне показалось, что мой вид возбудил подозрения горохового пальто, торчавшего на одном из углов.

Около вокзала штатской публики было побольше, но дальше к Обводному каналу Лиговка точно вымерла: на канаве фабричные корпуса стояли темные и мрачные, фонари не горели, и только звуки от ударов лошадиных копыт о мостовую звонко разносились по воздуху: то казачьи патрули объезжали районы.

Было жутко и вместе с тем радостно: что-то скажет восставший народ завтра? Я был бесконечно счастлив, что я попал именно в Петербург, в этот центр и горнило революции.

II

Часов в десять я опять подходил к Борисовой квартире. Попрежнему у ворот никого не было, попрежнему калитка была на цепочке, и я, как в первый раз, незаметно проскочил во второй этаж и остановился у дверей квартиры.

Не успел я позвонить, как дверь полуоткрылась на цепочке, и в дверную щель высунулась голова Бориса.

— А, это ты Володя? — Борис смутился. Подожди немного. Я сейчас.

Он захлопнул дверь. Я остался в темноте на площадке. Прошло минут пять, дверь не открывалась, и я с досадой подумал: «Вот, действительно, беспутный человек! Даже в такое время не может без бабы».

Дверь снова открылась, и Борис впустил меня в небольшую переднюю, закрыв предварительно дверь в гостиную. В это время раздался новый звонок, и Борис с такими же предосторожностями, как и меня, впустил Никиту. Оказалось, что и у него испортилась ночевка, и он вернулся к Борису. Борис и его оставил в передней.

— В чем дело? — спросил Никита.

Вместо ответа, я указал пальцем на запертую дверь гостиной, откуда несся шум сдержанных голосов.

Дверь гостиной открылась, и мы успели заметить человек двенадцать, разместившихся в комнате и о чем-то горячо беседовавших. Перед нами стояла, судя по голосу, еще молодая женщина; она прежде всего спросила у нас явки и пароли и, когда мы назвали ей зубоврачебный кабинет, она с досадой заметила:.

— Вечно эта заграница напутает! Ведь эта явка уже две недели, как отменена. Разве Х. У. не знала об этом?

Мы повторили свои пароли и рассказали о своих неудачах на явке.

— Так... так... — сказала женщина, — но как вы попали на эту квартиру? Впрочем, что же я спрашиваю, Борис рассказал мне. Вы давно знакомы с ним?

— Давно, давно, — теряя терпение, ответил Никитиа,— вы, товарищ, дайте лучше нам ночевку, если здесь у нашего друга остаться нельзя.

Я стал успокаивать Никиту, а женщина, бросив нам: «подождите!», ушла в гостиную.

— Что это у тебя: пьянство, несчастный? — сказал Никита оставшемуся с нами Борису.

— Дурак! — отрезал тот, — не понимаешь, что ли? Собрание ПК. Только вы ушли, явился ко мне технический секретарь, вот эта самая девица, и заявила, что у меня в десять часов собрание комитета... Ну, что мне было делать? Я сказал, что у меня ночуют старые товарищи, приехавшие сегодня, но секретарь только засмеялся: другой квартиры для собрания не было.

Дверь гостиной снова открылась, и вместе с девицей вышел молодой человек. Он поздоровался с нами и снова проверил пароли. На мой вопрос, где такие-то и такие-то (я назвал имена видных деятелей ПК и ЦК) и как я могу передать им письма из-за границы, молодой человек бо-

лее мягким голосом повторил адрес новой явки, но на мой вопрос ничего не ответил.

— Дайте нам, по крайней мере, ночевку, — свирепым голосом сказал Никита.

— Ночевки вам достать нельзя. Уже поздно, не правда ли, Надежда Николаевна? — обратился молодой человек к девице.

— Решительно ничего я не могу сделать для них, — смущенно прошептала девица.

— Что же нам, в полицию, что ли, итти? — спросил я.

— Если вам знакомы туда ходы, идите, — ответил молодой человек.

— Это уже слишком, — завопил Никита, — Борька, что это значит?

Наш несчастный поэт бросился к Никите и стал умолять его не ссориться, но Никита не унимался.

— А ты скажи этому милостивому государю, что у него, вероятно, у самого хорошие ходы в охранку.

— Товарищи, — умоляющим голосом взмолился Борис, — ведь мы в передней!

— Однако пора, — заявил молодой человек, — вам придется ночевать на улице... Да, да! Мне самому пришлось несколько раз испытать это. Впрочем... вы поступите так... Идите на Николаевский вокзал, возьмите билеты до Любани, до Чудово, до Малой Вишеры, вот вам и скоротаете ночь, а завтра приедете в Питер... Только будьте осторожны... на вокзале очень много шпиков... Вот вам двадцать рублей. Ну, товарищи, кончен разговор.

Молодой человек и девица ушли в гостиную, а Борис убеждал нас подчиниться необходимости.

— Ей-богу, я не виноват, — оправдывался он, — вы видите, как гром на ясном небе, это собрание. Только вы, товарищи, на вокзал не ходите... обязательно арестуют: вид у вас заграничный.

— Что же делать? — спросил я.

— Лучше всего проходить всю ночь по Питеру. Город большой, за ночь не обойдете. Жарьте отсюда на Васильевский, оттуда на Петербургскую сторону, вот и пройдет время до утра, а утром прямо на явку...

— А к тебе нельзя? — спросил Никита.

— Да у меня ночует вот этот хлюст и девица, что говорили с тобой.

— Фу, чорт бы вас побрал! — плюнул Никита, и мы вышли.

Чуть ли не на другой день после восстания, в городе, занятом войсками, мы остались на улице с двадцатью рублями в кармане. Что делать? Последовать совету секретаря и итти на вокзал или бродить по городу? Перспектива очутиться в теплом вагоне и поспать хотя бы сидя — соблазняла нас, но пугало предостережение Бориса.

После недолгого совещания решили отправиться на вокзал.

Шел уже двенадцатый час, и пригородные поезда больше не отправлялись. Я позвал носильщика и заказал ему два билета третьего класса до Малой Вишеры на курьерском, а сам с Никитой расположился в буфете. Подкрепившись немного, мы закурили и стали ожидать носильщика.

Буфет был полон шпиков. Один из них сел за наш стол и начал любезно выспрашивать, куда и зачем мы едем, при чем он с особенным вниманием посматривал на Никиту: его жгучая черная шевелюра делала его похожим на еврея.

«Угораздило же его родиться черным!» думал я с досадой.

Заметив нашего носильщика, я толкнул Никиту, мы встали из-за стола и бросились навстречу нашему спасителю. Носильщик огорошил нас: все билеты третьего и второго класса были проданы, а на первый класс, даже

если бы мы захотели поехать именно в первом классе, у нас нехватало денег, мы уже проели рублей пять, и брать билет первого класса, рискуя застрять где-нибудь на станции, тоже было нельзя.

Заплатив носильщику, мы быстро вышли из вокзала и снова окунулись в мутную тьму петербургской ночи. Что было делать? Мы пошли по Невскому, стараясь поскорее свернуть в боковую улицу. Свернув на Пушкинскую, пробрались потом переулками на Загородный и через Забалканский прошли на Садовую. Оттуда мы попали на Английский проспект и, не заметив, подгоняемые зоркими взглядами патрулей, вдруг к своему ужасу очутились на дворцовой площади. Здесь ярко горели костры, и патрулей было еще больше.

— Никита, — прошептал я, — качайся, как пьяный, и бормочи что-нибудь. А я буду тебя поддерживать!

Никита стал изображать пьяного и начал гнусавить: «боже, царя храни!». Я поддерживал его и уговаривал не шуметь. К нам подъехал драгунский разъезд. Драгунский офицер зорко посмотрел на нас, но, услыхав патриотическое бормотанье Никиты, снисходительно пробурчал:

— Нализались, негодяи! Ну, проваливай поскорей с площади. Марш!

Мы, пошатываясь и бормоча, направились к Миллионной и, быстро миновав ее, прошли на Троицкий мост. Все так же пошатываясь, направились к Петербургской стороне. На мосту дул сильный ветер. Кругом зияла зимняя тьма, и какая-то огромная пустота давила сознание.

Очутившись на другой стороне и пройдя на Дворянскую улицу, мы остановились и перевели дух. Было два часа. Нам оставалось пробыть на улице еще по крайней мере часов шесть, а ноги наши подкашивались, мы продрогли, и силы оставляли нас.

— Что делать? — спросил я Никиту.

— Убирайся к чорту! — ответил тот, — если б я знал, так я не стал бы шататься по улицам!

Мы уныло побрели дальше.

— А знаешь что? — вдруг обратился ко мне Никита,— я придумал, — поедем на острова.

— На какие острова? — спросил я с недоумением.

— На какие, на какие? На такие, — ответил Никита, — вот видишь, стоит извозчик, и хвост у лошади к городу, значит поедет.

— Извозчик! — крикнул он, — на острова отвезешь?

— Чего ж не отвезти, барин. Куда прикажете? в Аквариум?

— Жарь в Аквариум, — сказал Никита, — сколько возьмешь?

— Пять рубликов.

— Целковый.

Торговля продолжалась минут пять, и, подрядивши извозчика за два рубля с полтиной, мы поехали.

Я молчал. Куда ни ехать, лишь бы не шлепать усталыми ногами по скользкой мостовой. Дул ветер, извозчичья кляча плелась медленной рысцой, и мы замерзали, прижавшись друг к другу. Извозчик сумрачно молчал, и лишь изредка поругивался, когда экипаж попадал в темноте в ухабы.

Примерно через час мы увидели яркий свет, и огненные буквы «Аквариум» прорезали тьму.

Тут только я сообразил, что мы едем в кафешантан.

Смутно я соображал, что напрасно мы затеяли эту поездку, что уже наш возница своим видом выдает нас, — кто же в «Аквариум» приезжает на такой кляче? — что у нас мало денег, что уже поздно. Но усталость и желание погреться, посидеть в тепле превозмогло все, и у меня хватило мыслей только на то, чтобы предложить Никите:

— Отпустим извозчика здесь, а сами пойдем пешком, как будто бы шли откуда-нибудь поблизости.

— Ну, чорт с ним, отпускай, — ответил Никита, и мы, заплативши извозчику трешницу, подошли к ярко освещенному подъезду.

Шикарный швейцар с удивлением посмотрел на нас, но, вероятно, наши заграничные пальто и костюмы успокоили его.

— Много гостей? — спросил я.

— Никого-с... — нахмурившись и неодобрительно посмотрев на нас, ответил швейцар и пропустил нас вперед.

Мы вошли в залу.

III

Огромный зал был пуст. Несколько лакеев дремали, сидя в креслах. Музыканты сонно раскладывали ноты. Наше появление, казалось, поразило всех. Лакеи стали шушукаться, и один из них вышел из залы, а другой подошел к нам.

— Бутылку «Nuit» и черного кофе!.. — с трудом выговорил я, едва лепеча слова замерзшими губами.

Не успели мы сесть за стол, как в зале появились женщины, сначала двое, потом еще трое, потом еще одна. Они сели в разных местах и, зевая, стали с удивлением осматривать нас. Мне казалось, что мы поставили себя в безнадежно-глупое и опасное положение.

Явился лакей и поставил на стол бутылку бургонского и кофейник. Откупорив бутылку, он налил нам по чашке кофе. Я же, чтобы не подать вида, что мы озябли, как собаки, взял бутылку и хотел налить вина. Налив дрожащей рукой в один бокал, я хотел поставить бутылку, но руки мои так закоченели, что, ставя ее, опрокинул, и красное вино яркой волной залило белоснежную скатерть. Девицы засмеялись, но Никита нашелся и громко сказал.

— Володя, — ты совершенно пьян! — Человек!

Подскочившему лакею Никита велел перенести кофе на другой стол и подать другую бутылку вина.

Моя оплошность и поведение Никиты сразу возвысили наши шансы. Девицы приблизились к нам, появившийся метр-д-отель махнул музыкантам, и зал наполнился звуками какой-то разухабистой мелодии.

— Однако мы, брат, с тобой того... — прошептал Никита, — в такие дни и в таком месте. У, проклятые бюрократы от революции. Ну, уж буду я помнить вашу ночевку.

Девицы приближались к нам, и мне пришла в голову ужасная мысль, что они подсядут к нам и будут требовать угощения, а у нас денег в обрез.

— Хватит ли еще заплатить? — с ужасом подумал я, невольно хватаясь за карман.

— Никита, — прошептал я, — ни под каким видом не допускай, чтобы девицы сели к нам. У нас нет денег. Знаешь, давай я буду играть роль назначившего здесь свидание, а ты громко смейся надо мной и говори, что она не придет.

— Ладно! — сказал Никита, и началась нелепая канитель.

Я повторял бессмысленные фразы о любви, а Никита, изображая Мефистофеля, язвительно улыбался и кричал:

— Вот твоя Нинка! Вот ее верность! Я говорил, что не придет!

Выпитое вино, тепло комнаты и кофе согрело нас, и мы, повторяя бессмысленные фразы и изображая пьяных, с тоской думали о том, что скоро опять нужно итти на холод и ветер и бродить по улицам.

Между тем одна из девиц подошла и села у соседнего столика. Она как будто бы не слушала и не смотрела на нас, а вся была поглощена оркестром, но я чувствовал, что

она внимательно наблюдает за нами из-за большого китайского веера, стоявшего у стола.

Лицо этой женщины поразило меня. Оно было той поразительной русской красоты, которая иногда еще встречается у людей славянской расы.

Тонкие черты этого лица, — нос, губы, умный широкий лоб и изящный подбородок, — все это освещалось глубокими, черными, обрамленными густыми ресницами глазами. Ресницы были так длинны, что от них как бы падала тень, и оттого глаза казались еще глубже. Густые черные волосы, собранные в косу, окаймляли это лицо, точно изваянное древним художником, какой-то рамкой и делали его еще выразительней.

Она была одета в модное в те времена платье покроя reforme, и ее стройные формы красиво и свободно выделялись.

Я смотрел на нее и мучительно старался вспомнить, где я видел это лицо, эти косы, эти глаза и всю эту фигуру, и не мог вспомнить.

Положение наше между тем становилось критическим. Нужно было что-нибудь делать: или расплатиться и итти домой, или оставаться с девицами.

— Владимир, я требую счет, — сказал Никита, — дольше сидеть — больше неприятностей будет. Сколько у тебя денег?

— Рублей двенадцать, — ответил я тихо.

— Ну, ладно; думаю, что хватит, — прошептал Никита, поманил официанта и потребовал счет.

Женщина впилась в нас глазами.

Я сидел точно на угольях. Принесли счет, я взглянул и обомлел от ужаса: мы должны были заплатить около четвертного билета. Никита взял счет и величественным жестом махнул официанту.

— Хорошо. Идите. Мы еще подумаем, может быть, еще чего-нибудь выпьем.

Официант отошел, а Никита, сердито посмотрев на меня, тихо сказал:

— Володька! Смотри веселей, чорт тебя возьми! На тебе лица нет. Вид у тебя точно у жулика, а ты должен как раз смотреть наследным принцем. Однако, что же делать?

— Не знаю, — беспомощно прошептал я.

— У, чорт, не знаю... А я знаю?

В моей голове были совсем безнадежные мысли: скандал, протокол, участок, а там выяснение личности и тюрьма. Вот тебе и нелегальная работа! И какой позор! В такие дни революционеры пьянствуют в кафешантане. Пойди доказывай, что ты не верблюд.

Положение становилось отчаянным, так как появился метр-д-отель и направился к нам.

— Ну, начинается! — с ужасом подумал я.

Метр-д-отель с нахальным лицом действительно шел к нам, но только-что он стал приближаться к нашему столу, женщина встала, посмотрела в его сторону и подошла к нам. Метр-д-отель остановился в нерешительности. Женщина протянула мне руку и сказала с величественной улыбкой:

— Грешный сын земли! Володя! Вы не узнали меня?

Когда раздался звук ее голоса, когда я услышал это густое низкое контральто, и когда оно зазвучало, как сладкие и нежные тоны виолончели, я вдруг вспомнил: передо мной стояла Маруся Новицкая, та Маруся Новицкая, которая была гордостью нашей гимназии и богиней всех гимназистов.

— Маруся! — нерешительно и радостно воскликнул я.

— Да, Маруся... — ответила женщина и, просто, хотя и лукаво улыбаясь, добавила: — Вы не смущайтесь, я понимаю ваше положение, у вас нехватает денег. Ничего, со

мной все устроится. Отныне я ваша покровительница, а вы мои послушные подданные.

Никита с удивлением посмотрел на нас, и, должно быть, вид у нас обоих был достаточно глупый и беспомощный, потому что Маруся звонко расхохоталась.

— Да... мы... я... неудача... всего двенадцать рублей:::— начал было я.

Но Маруся коснулась своей рукой моего плеча и тихо сказала:

— Довольно, довольно. Я все понимаю. Держитесь развязней. Положитесь на меня.

— Но mademoiselle Маруся, — галантно и уже нахально, как завзятый ловелас, сказал Никита, — мы не имеем ночлега.

Маруся величественно повернулась вполголовы к нему и небрежно бросила:

— Прежде всего следовало бы познакомиться. Я же вашему другу сказала, что все устроится.

— Pardon! Позвольте представиться: monsieur Nikitá— с шутовским видом пробасил Никита.

— Ну, Никита, так Никита. Ладно.

Маруся протянула тонкую руку и слегка ударила несколько раз колечком по бокалу. Приятный звук разнесся по залу, Маруся махнула рукой, и официант, но не тот, что подавал нам, а другой, подбежал к столу.

— Степан Иваныч! — обратилась к нему Маруся, — позовите Тоню к нашему столу.

Тот, кого назвали Степан Иванычем, не так, как лакеи, а по-хорошему, по-человечески ответил:

— Поди, спят они, Марья Николаевна.

— Сделайте, родной, для меня это. Нужно.

Маруся ласково взглянула на Степана Иваныча, и тот беспрекословно быстро исчез из зала.

— Ну вот что, messieurs, — смеясь говорила между тем нам Маруся, — люди вы бездомные, сирые, а я грешница великая, и нужно мне завет евангельский помнить: сирого накорми, бездомного приюти. Придет Тоня... — Маруся презрительно посмотрела на Никиту и добавила, — она в вашем вкусе.

Никита попытался скорчить шутовскую физиономию, но Маруся перебила его:

— Придет Тоня, вы потребуете две коробки конфет, и мы уйдем.

— Две коробки конфет? — с ужасом спросил я. — Ведь у нас нет денег.

— Ну да, две коробки конфет, — засмеялась Маруся,— не беспокойтесь и держитесь, как американские миллионеры.

— Вот это мне нравится! Вот действительно королева-покровительница, — заметил Никита, — везет тебе, Володька!

— Ну, и глупо, Никита, — просто заметила Маруся, — плакать надо, а вы острите.

— Чего же плакать, божественная королева? — не унимался Никита. — Вы принимаете своих рыцарей в своем палаццо.

Никита махнул рукой и посмотрел кругом, как бы ища палаццо.

— Еще раз глупо, — сказала Маруся, — вот идет Тоня, она любит такие беседы.

К нам подошла эта Тоня.

Низенькая, толстенькая блондиночка с пухлыми щеками, с ямочками, пухлыми накрашенными губками, пухлыми белыми, как лен, взбитыми волосами, она прежде всего звонко рассмеялась.

— Мари! что это значит? Я уж собиралась coucher dormir. Je suis très fatiguée, mais...

— Не трещи, Тоня. Monsieur Voldemar и monsieur Nikitá устали, и мы минут через пятнадцать уйдем отсюда. Понимаешь? Monsieur Nikitá, займитесь вашей дамой.

Никита не заставил себя ждать, и скоро на его ресторанные остроты («откуда у него это берется»!» подумал я) его дама звонко хохотала, тоже не заставляя ожидать своих ответов.

Появились две коробки конфет и бутылка вина. Маруся и я не пили, а Никита со своей дамой занялись этим делом.

Зазвучали звуки оркестра. Какой-то разухабистый марш оглашал пустое помещение.

— Ну, Володя, не ждали меня здесь встретить? — спросила с грустью Маруся.

— Да... как это вы, в самом деле, очутились здесь?— спросил я и сразу почувствовал всю несуразность и боль вопроса.

По лицу Маруси пробежала болезненная судорога; она ничего не ответила и поднялась.

— Ну, Тоня, пойдем. Ты возьмешь под свое покровительство monsieur Nikitá, а я monsieur Voldemara.

Маруся попросила нас подождать, подозвала Степана Иваныча, сказала несколько слов; тот махнул головой, и мы направились к выходу. Степан Иваныч что-то сказал нашему официанту, и тот низко поклонился нам.

— Дайте ему рубля три, — сказала Маруся.

Я исполнил это, и мы двинулись к выходу.

Швейцар все так же хмуро подал наши пальто и помог дамам, которые, не одеваясь, накинули свои шубки на плечи. Однако мы вышли не главным входом, а боковым и сразу же очутились в каком-то дворе. Чуть брезжил рассвет тяжелой петербургской ночи. Холод охватил нас, снег хрустел под ногами, но было хорошо на свежем воздухе.

Минуты через две мы поднимались по крутой, но чистой и устланной ковром лестнице. Мы попали в какой-то

коридор, тоже чистый и устланный ковром, похожий на коридор гостиницы, так как по обеим сторонам его шли двери.

— Ну, вот мы и дома! — произнесла Маруся, останавливаясь перед какой-то дверью — monsieur Nikitá, проститесь со своим другом, а вы, monsieur Voldemar, с его дамой.

Никита церемонно поцеловал руку Маруси, я простился с Тоней, и мы вошли в комнату Маруси.

Это собственно были две комнаты или, вернее, маленькая квартирка. Из передней налево шла дверь в ванную, а прямо в большую комнату в роде гостиной; направо из нее шла дверь в спальню. Гостиная была убрана со вкусом. Круглый стол на тонких ножках, изображавших наверху головы каких-то чудовищ, а внизу кончавшихся лапами львов; такие же стулья, с такими же тонкими ножками и спинками, инкрустированными бронзой; диван в том же стиле; по стенам круглые барельефы в роде больших камней; прекрасный небольшой рояль под стиль столу и стульям; два небольших пуфа в том же духе; небольшое трюмо с ширмочками внизу, обрамленными красным деревом с бронзовой инкрустацией; такие же карнизы для оконных гардин, — все в этой комнате было изящно и строго.

— Не смотрите на эту мишуру, Володя, — сказала с грустью Маруся, — все это мое, честно заработанное горлом и грудью. Не думайте дурно обо мне.

Маруся вошла в спальню и минут через пять вышла в простом домашнем черном платье, еще более оттенявшем ее поразительную красоту.

— Ну, вот, будем сейчас пить чай, — сказала она и, как бы объясняя мое недоумение, добавила, — мы — ночные птицы, у нас все приспособлено.

Она позвонила и, когда минут через десять вошла заспанная горничная, она сказала:

— Агаша, родная, устрой чай. Это мой старый друг, земляк, а это моя верная дуэнья.

Агаша, простая деревенская девушка в чистом переднике, улыбнулась и спросила:

— На спиртовом?

— Ну, да, Агашенька, не самовар же ставить. Вот будем иметь отдельную квартиру, тогда и самовар будет.

Пока Маруся и ее дуэнья Агаша возились с чаем, я мысленно пробежал прошлое.

IV

Вспомнил я наш город, бойкий южный провинциальный торговый и промышленный центр, с его базарной суетой, разноязычной толпой, эгоистичной, жадной буржуазией и отсутствием интеллигенции и умственных интересов.

Адвокаты, инженеры, врачи, моряки да офицеры местного гарнизона — это и был цвет интеллигенции. Для нас же, гимназистов и гимназисток, мечтавших в подпольном кружке о революции и героизме, студенты, приезжавшие на каникулы, были чуть ли не Робеспьерами и Лассалями, когда мы слушали их рассказы о жизни в столице, о землячествах, рефератах, беспорядках и демонстрациях.

В нашем кружке, состоявшем из двенадцати человек, шести гимназистов и шести гимназисток, выделялось двое: Маруся Новицкая, дочка секретаря городской управы, старика-шестидесятника, разорившегося помещика, и Андрей Светилов, юноша-крестьянин, без роду без племени, пробивший себе дорогу собственным умом, энергией и характером.

Маруся, несмотря на свою поразительную красоту и хвост поклонников из офицеров, адвокатов и студентов,

поражала всех не только своим прекрасным голосом, но и серьезностью и умом. Она потому и тянула всех, как магнит, что ни вольности, ни двусмысленности с ней позволить было нельзя. Толпа ее поклонников всегда приносила и политические новости, и последнюю нелегальную книжку, и деньги для ссыльных и заключенных. Маруся мечтала о медицинских курсах и работе в народе.

Мы все знали, что эта глубокая девушка любит Андрея Светилова.

Светилов — яркая противоположность Марусе, здоровой и жизнерадостной, отличался хилым здоровьем (злая чахотка точила его) и какой-то суровостью аскета. Под его большим лбом роились стройные мысли и рождались схемы долга и самопожертвования.

Он самостоятельно приготовился в пятый класс гимназии, был встречен враждебно людьми в футлярах, но уже через год даже среди них пользовался огромным уважением. Латинский и греческий языки он знал лучше латиниста и грека, по математике шел первым, а русскую литературу цитировал по памяти. Уже в шестом классе у него были хорошие уроки, а в седьмом и восьмом он жил в качестве гувернера у миллионера-фабриканта и, при готовой квартире, даче, курортном отдыхе, ложе в театре, он получал около четырех тысяч рублей в год.

Но авторитет Светилова был не в этом: он поражал всех своим мужеством и моральной крепостью. Раз, идя по улице и увидав, как городовой бьет рабочего, Андрей бросился на полицейского, попал в участок, был судим педагогическим советом и был оправдан, так как на его сторону стал и священник, и директор, и даже сам полицмейстер, во избежание скандала.

Другой раз педагогический совет судил его за то, что были конфискованы письма на его имя от какого-то ссыльного с благодарностью за то, что Андрей содержал его

больную мать-старушку. При разборе дела с жандармами обнаружилось, что Андрей содержал не только эту старушку, но и мальчика-сиротку, студента в каком-то провинциальном университете. На вопрос, почему он это делает, Андрей ответил, что нет никакого общества помощи беднякам-учащимся. Ему предложили вносить деньги официально через университет и гимназию; он согласился, но не перестал делать это попрежнему и тайно.

Занимаясь с сыном пастора, он прекрасно выучился немецкому языку и переводил нам «Нищету философии».

Он не пил, не курил, не играл в карты и все свободное время проводил в чтении. Я любил его. Он мне много помогал и деньгами и советами, но, несмотря на это, не было в моей любви к нему теплоты. И не потому не было ее, что и мне нравилась Маруся, которая, как на божество, смотрела на Андрея; нет, потому, что я, грешный и слабовольный человек, со всеми грехами страждущего человечества, как-то застывал перед безгрешностью, чистотой и ясностью Андрея. Эта его чистота, эта его ясность, эта отрешенность от жизни, эта способность ума в его хилом теле все понять и простить пугали меня; всегда, покаявшись ему в своих прегрешениях, я уходил от него не облегченный, а с какой-то опустошенной душой и с еще большим сознанием своих прегрешений и недостатков.

— Ты — грешный сын земли, а Андрюша — богочеловек! — смеясь говорила мне иногда Маруся.

Маруся безумно любила Андрея, и странно было смотреть, как под лучами ее ласки холодная, ледяная мораль Андрея таяла, и он становился добрым, хорошим, больным, но простым, понятным для нас человеком.

Все знали, что Андрей и Маруся поедут—он в Москву, она в Петербург — на медицинский факультет, окончат медиками и поженятся. Все знали это и не претендовали на руку Маруси.

Мы кончили гимназию. Я уехал в Москву, Маруся в Петербург, а Андрей остался на год в родном городе по болезни: в университет его приняли, но дали сразу же годовой отпуск.

С Андреем я встретился через год в Москве, когда он умирал от чахотки. Поразило меня то, что подле него не было Маруси. Когда я спросил у него о Марусе, он закашлялся, сурово посмотрел на меня и крикнул: «Молчи».

Я не спрашивал больше о ней.

Той же осенью, под завыванье осеннего ветра, в клинике, одинокий и всеми оставленный, умер Андрей.

Дошли до меня смутные слухи о том, что разошлась Маруся с Андреем, что увлеклась она студентом Топольницким, но все это были слухи, и ничего определенного я не знал. Меня в Москве не было, и как хоронили Андрея — я не знал. Слышал я, что после него остались большие деньги, но кому и для чего он оставил их, я не знал, так как, захваченный жизнью, я побывал несколько раз и в тюрьме, и в ссылке, и за границей.

Все это я вспомнил, сидя в теплой, чудесно убранной комнате и попивая душистый, крепкий чай.

— Да, Володя, много воды утекло, — говорила Маруся. — Было счастье, да миновало.

Она замолчала и задумалась.

— Да, как хорошо было, — сказал я, — помните наш кружок, Андрея?

— Андрея! — сказала Маруся, — Андрея? А знаете, я виновница его смерти.

— Что вы! — воскликнул я, — когда я его встретил в Москве, он был уже приговорен к смерти.

— Ну, да! — ответила Маруся, — а почему? Потому что я виновата. Я изменила ему. Вы знаете, в Петербурге я встретилась с Толькой Топольницким. Вы помните этого веселого, жизнерадостного лентяя, сибарита и бездельника?

Чем он покорил меня, сама не знаю. Ведь пустышка, неумный, недалекий человек, а вот прилипла к нему, отдала ему всю душу. Знаете, если бы был подле меня Андрей, этого не случилось бы. Я умоляла Андрея, чтобы и мне остаться на год в провинции, подождать и поехать вместе. Он был так уверен во мне и настаивал на том, чтобы я не теряла года. Вот и случилось все это. Топольницкий стал ухаживать за мной, нет, это неверно, я сама потянулась к этому здоровому глупому животному. А он умел красноречиво развивать мои мысли и желания, и мне казалось, что это его желания и мысли. Перестала я писать Андрею, а потом, когда отдалась Толе, написала всю правду. Он ответил хорошим, задушевным письмом без обиды. Храню его и сейчас. А дальше... Забеременела я, и пошло после. Топольницкий стал не тот, да что там, — бросил меня. Родила я мертвого и плакала, как дура, что не живой родился. Ну, а потом вдруг получаю телеграмму: «Андрей умер. Хороним клинике».

Помчалась я. Приехала, едва успела. Помню, как сейчас, осенний теплый день, будто солнышко прощалось с Андрюшей. Вошла я в часовню, когда отпевание шло, «Вечную память» пели. Упала я на гроб, дальше все, как в тумане, помнится. Похоронные дроги, небольшая кучка товарищей, Дорогомиловское кладбище, стук земли о крышку гроба. Ах, Володя, Володя! Оставил он денег мне пять тысяч. Три тысячи я отдала на школу его имени в Смоленской губернии, откуда он родом, а две тысячи взяла себе и поступила в консерваторию. Охладела вдруг к медицине, нет, не охладела, а просто—как войдешь в анатомический театр, так Андрей и встанет перед глазами. Ну, кончила консерваторию, и вот теперь пою... Не думайте только, что я собой торгую. Голос у меня хороший, готовлюсь в оперу, — но, может быть, и без оперы проживу: сейчас своим жанром рекорд побила и могу большие деньги иметь. Да не радует меня это.

— Ну, а как же этот... — начал я.

— Толька-то? Тоже похоронила его. Приехала в Питер и как отрезала: не пошла к нему. Вдруг узнаю, что болен он сильно. Получаю записку, умоляет притти проститься перед смертью. Пошла, а он при последнем издыхании: на какой-то попойке простудился и заболел воспалением легких. Я и глаза ему закрыла. Все простила и все забыла. Ну, вот... А вы как?

Маруся вдруг отвернулась и по-бабьи стала всхлипывать. Потом эти всхлипывания перешли в рыдания и истерику. Я позвонил. Прибежала Агаша. Она успокоила Марусю и уложила ее.

— Вот так всегда, — говорила Агаша, — веселы, довольны, успех у них, деньги, а как начнут плакать, — беда. Вынут патрет мужчины и зачнут плáкать, страсть! Говорю им: сойдитесь с кем, такой даме без мужчины нельзя. Куды там! Соблюдают себя.

Долго еще болтала Агаша, устраивая мне постель, и долго еще не мог я успокоиться.

На утро Маруся вышла томная, усталая, но сияющая еще больше своей обаятельной красотой. Пришли Никита и Тоня, оба чрезмерно довольные друг другом.

Дело с расплатой было устроено Марусей. Мы условились, что она зайдет к Борису, и мы отдадим ей наш долг.

Недели через две мы ждали ее у Бориса, квартиру которого мы общими усилиями привели в порядок. Борис хотел надеть новый костюм и почему-то волновался. Мы заставили его остаться в старой бархатной куртке.

Наконец Маруся и Тоня пришли. После взаимных приветствий уселись и рассмеялись, так чудно казалось видеть этих двух красивых женщин в нашей жалкой квартире.

Начался молодой беспричинный смех и разговор.

Перед уходом Маруся сказала:

— Владимир, я могу и хочу быть вам полезной. Многого не требуйте, но кое-что я сделать могу.

— Приветствую, — скаал Борис, — позвольте посвятить вам мои вирши.

Он прочел:

Опутан злобой и обманом,
В крови влачится человек,
И злая ложь своим туманом
Его преследует весь век.

Но красоты могучей силы
Вдруг зажигают в нем любовь,
И силы смерти и могилы
Он побеждает вновь и вновь.

О, красота! твое сиянье
Рождает в нем могучий дар:
Любви и смерти в нем слиянье,
Грядущих помыслов пожар.

Опутан злобой и обманом,
Я без тебя и сир и слаб.
Прими же вместе с фимиамом
Мои молитвы: я твой раб.

Борис стал на колени и преподнес свои вирши Марусе. Она улыбнулась, взяла их и спрятала за корсаж.

Лицо Бориса сияло, а я... еще раз подумал:

«Не для всех счастье. Revolutiae lex, suprema lex. Каждому свое».

Мы расстались. С тех пор я не встречал Маруси.

КОНТОРА ПО СКУПКЕ КОРОВ.

(Славе).

I.

Дело было в ноябре 1905 года. Измученный работой в Москве в сентябре и особенно в октябрьские дни, я был отправлен друзьями в Среднюю Россию, в В... губернию на отдых. К несчастью, оказалось так, что небольшой губернский городок, куда я попал, нуждался в агитаторах, и меня снова впрягли в оглобли главного оратора на митингах и собраниях. То, что привело мою нервную систему в состояние раздражения, было и здесь. Дня через три я опять никуда не годился, и товарищи решили и здесь дать мне отдых. Было постановлено, что я направлюсь в деревню Ефремовку, большое село, вблизи которого находилось имение помещика N, сочувствовавшего большевикам, и там отдохну недели две, чтобы, набравшись сил, снова броситься в борьбу.

Имение, где я очутился, находилось в глубине губернии, вдали от железной дороги. Помещичий дом, старое здание XVIII века, стоял в заросшем огромном саду, спускавшемся к реке. В доме была прекрасная библиотека, преимущественно старых книг. Лежа на диване и положив на пол стопку старых французских романов эпохи реставрации и второй четверти XIX века, я жадно брал книжку за книжкой и безостановочно поглощал их. Бесконечные приключения героев de «La belle France», десять раз на протяже-

нии романа умиравших от шпаги или пистолета и десять раз чудесно воскресавших, описание придворных балов, отравлений, преступлений и образцов доблести быстро успокоили мои нервы, и дня через два я почувствовал смертельную скуку. Мне захотелось бежать из этого дома с его бесконечными комнатами, лестницами, переходами, закоулками и портретами предков, молчаливой ключницей и недоверчиво глядевшими на меня дворовыми. Однако хозяин дома, навестивший меня дня через два, категорически воспротивился моему отъезду и, так как был врачом, осмотрел меня и сказал:

— Ну, вот что, батенька. Вообще вы здоровы. Отощали только здорово. Нужно жирку нагулять. Поэтому моя резолюция: есть, пить, спать, гулять, а там посмотрим.

— Тоска! — сказал я.

— Ну, тоска, тоска! Пройдет.

— Не могу я здесь, когда там кипит все.

— Поспеете еще голову себе свернуть.

— Тоска и скука без дела.

Хозяин подумал.

— Вот что разве... Земство здесь организует покупку коров у нуждающихся крестьян. Вместо того, чтобы дать возможность кулакам грабить крестьян, скупая у них за бесценок скотину, земство решило организовать покупку скота самостоятельно, на выгодных для деревни условиях. Во-первых, оно платит крестьянам вдвое дороже, во-вторых, за хороший вес дает премию и, в-третьих, борется с кулаком. В-четвертых...

Я перебил говорившего.

— В-четвертых, само земство грабит крестьян. Для каких целей оно покупает скот?

Мой собеседник замялся.

— Земство поставляет его для армии.

— Так, — сказал я; — так что же вы хотите?

— Я советую вам принять в этом участие.

— Мне? — воскликнул я, — принять участие в обдирании крестьян на предмет помощи самодержавию? Здорово!

— Чудак вы! — ответил хозяин. — Как раз наоборот. Во-первых, крестьяне и без нас бы продавали скот, но кулакам — и дешевле, и когда бы это мясо попало в армию— неизвестно. Во-вторых, земство, продавши скот, всю прибыль возвращает не только в виде премий крестьянам, но и в виде вот тех двух школ, постройки которых вы видели, въезжая в село. И, наконец, в-третьих, борьба с кулаками не так-то легка: они все же скупают скот, посылая подставленных лиц, тех же крестьян. Вот с этим-то и нужно бороться. Вот это-то я хотел предложить вам.

Я подумал и согласился. Мысль помешать организации кулаков и попытаться сколотить кружок крестьян-бедняком соблазнила меня.

— Ну, вот и отлично, — сказал мой хозяин, — вы получите за месяц сто рублей и в начале декабря уедете с сознанием принесенной пользы и сотняжкой, которая вам пригодится. Через два дня на третий сюда приезжает агроном Николай Николаевич Самурин регулировать дело, осматривать скот и расплачиваться с крестьянами. Но теперь деньги будут у вас, то-есть вы их храните-то не у себя, а в кредитном товариществе, но выплачиваете сами. К вашим услугам наш служащий, здешний мужик Егор Фалалеев, из бедняков; он и поможет вам парализовать всю кулацкую брехню. Если согласны, я нынче же познакомлю вас с Самуриным, он как раз в Ефремовке.

Вечером я познакомился и с Самуриным и с Егором Фалалеевым.

Николай Николаевич Самурин, уездный агроном, принадлежал к партии социалистов-революционеров. Молодой человек лет тридцати, высокий, сильный, с умным лицом и энергичными движениями, он производил хорошее впеча-

тление: знал свое дело, знал хорошо крестьян и пользовался их доверием.

Не успел он познакомиться со мной, как вступил в спор по аграрному вопросу.

Выпивая рюмку водки и закусывая ее грибом, он тыкал вилкой в пространство и кричал:

— Оппортунисты вы, социал-демократы большевики! Ну, я понимаю меньшевиков, те от буржуев ничем не отличаются, они ухватились за ваши отрезки и рады, лишь бы не отнимать земли у бар. А вы-то, вы, ведь вы же революционеры, ведь вы же признали конфискацию земли. Почему же остановились на полдороге к социализации?

Я подсмеивался над ним, приводя тогдашние аргументы против эсеровской социализации в деревне без социализма в городе, и спор наш приводил в недоумение Егора, сидевшего на краешке стула, ехидно улыбавшегося и с нетерпением ждавшего, когда агроном предложит ему следующую рюмку водки.

— Ну, а ты как насчет земли, Егор? — обратился к нему агроном. Егор крякнул и с усмешкой заметил:

— Земля, она — что девка. Кто ее взял, тому и родит. Только вот...

— Ну, что только? — спросил я.

— Только силов у нас нет взять ее.

— Да, брат, без организации, без партии нельзя... — наставительно заметил агроном.

— Н-да... — протянул Егор и, выпивши рюмку водки, поморщился, вытер рукой рот и продолжал, — партия-то эта у нас есть.

— Ну, что болтаешь зря, никакой партии у вас нет,— сказал агроном.

— Оно точно, что нет... — согласился Егор, — а вот намедни такого красного петуха пустили ивановцы, — все дочиста сгорело.

— Ну, вот и дураки! — отрезал агроном, — дочиста сгорело. Вы бы не жгли, дурьи головы, а в порядке взяли бы землю, да общественную запашку.

— Оно и впрямь дураки! — согласился Егор, — имущество пожгли... Сподручней бы взять по домам, Миколай Миколаевич, а то там жечь да портить. Все прибытку бы в избе прибавилось...

— Ну, вот и ваша социализация! — съязвил я, и спор закипел снова.

Проспорив до поздней ночи и не убедивши друг друга, мы порешили, что я займусь с Егором раскрытием кулацких козней, а там дальше видно будет. Ранним утром Самурин уехал, а я превратился в уполномоченного земства.

II

Дело оказалось значительно сложней и интересней, чем я думал.

Кулаки создали действительно сильную организацию. Все они были верноподданными и принадлежали к черносотенцам. Во главе их стоял поп, отец Петр.

Этот служитель бога не понравился мне с первого же взгляда. Вся его жирная, плотная фигура дышала той отвратительной елейностью, за которой скрывается самое беспощадное хищничество.

Не успел я водвориться в качестве уполномоченного в избе и дворе Егора, отведенном для приема скота, как на пороге показалось обрамленное жалкими мочального цвета волосами лицо отца Петра.

Лицо это источало елей и добродушие. Как бы завидя своего лучшего друга, о. Петр устремился ко мне и сказал:

— Достоуважаемый Николай Иванович! Позвольте представиться вам и приветствовать в вашем лице представителя русской интеллигенции, признавшей за благо отдать свой

труд и свои знания русскому православному народу, терпеливо и с благоговением переносящему испытания, ниспосланные за грехи наши господом-богом. Несть бо жертвы более угодной богу, как положить душу свою за други своя...

Я остановил поток его красноречия и заметил, что душу свою полагать ни за кого я не собираюсь, но рад познакомиться со всеми, кто готов помогать мне избавить крестьян от грабежа и обмана.

— Грабеж и обман! Какие сильные слова! — воскликнул поп. — Но кто же вознамерился обижать наш христолюбивый народ?

Лицо попа покрылось еще больше маслом и положительно источало стремление умереть чуть ли не на кресте за дело христолюбивого народа.

— Что-то не слышно у нас о грабеже и обмане. Народ у нас смирный и богобоязненный, Николай Иванович, грех роптать на него, а вот только за грехи наши неурожай у нас, и скотинку продавать приходится. Ну, да благопопечительное начальство и здесь пришло к нам на помощь, и с божьей помощью мы и ныне переживем лихолетье. Да-с, приятно, приятно, что в лице вашем видим мы русскую интеллигенцию, шествующую по стезе добродетели. За честь почитаю познакомиться с вами.

Поп схватил мою руку обеими своими руками и потряс ее.

— Коровок одних-с покупаете? а бычков вам не требуется?

Буркнув ему, что мы покупаем и бычков, я постарался поскорее отделаться от своего нежданного гостя. Но гость не уходил, выспрашивал меня и Егора об условиях покупки: цене, испытании приводимой крестьянами скотины, весе ее, премиях, словом, обо всех подробностях, как будто бы собирался продавать скот.

Когда поп, наконец, ушел, Егор сплюнул и заметил:

— У, выжига заупокойная! Все вынюхал! Вот вам крест, Миколай Иванович, ежели он не приведет своей коровы на продажу.

Потолковавши с Егором, я решил вывесить объявление, что земство принимает от каждого домохозяина только по одной животине, чтобы дать возможность заработать прежде всего маломощному крестьянству. Делал я это для того, чтобы пресечь кулакам возможность нажиться на народном горе.

Однако эти меры не помогли. На другой день на ряду с крестьянской беднотой, продававшей свой скот, явились и кулачки, которые приводили по три и по четыре коровы.

Каково же было наше удивление, когда среди них оказалось и пять штук поповых коров. Обнаружилось это сейчас же, как только Егор начал отказывать в приеме владельцам двух или трех голов.

— Миколай Иванович! — заявил он с ядовитой усмешкой, — там попов работник вас спрашивает.

Я вышел. Маленький, тщедушный мужичонка стоял без шапки, ожидая меня.

— Что нужно вам? — спросил я.

— Батюшка прислали на продажу коровок, да вот Егор сказал, что нельзя их купить.

— А сколько вы привели коров-то?

— Да пять штук, Миколай Иванович.

Я объяснил работнику, что земство покупает только у нуждающихся крестьян и только по одной животине, так как цель этой покупки — помощь крестьянам. Кто продает по пяти коров, тот, стало быть, богатый человек и либо хочет помешать продать бедноте, либо, что еще хуже, скупает у бедняков и наживается на народном горе.

— Правильно это или нет? — спросил я окруживших меня мужиков.

— Правильно, правильно! — загудели мужики.

— Как же неправильно? — сказал какой-то крестьянин, — у попа своих только две коровы, они и посейчас стоят у него, а эти он купил у мужиков. Да вот глядите— это Миронова скотина, эта Ивашкиной бабы, это Солодухиных, а вот это Петьки Кривого. Поп за долги у Петьки отобрал. А вот эту с белыми пятнами Матрена с воем вела вчера к попу.

Не успел говоривший закончить, как раздался плач, и я увидел и эту самую Матрену, стоявшую в сторонке и утиравшую рукавом слезы, катившиеся обильно по ее лицу.

— Ну, вот видишь, — сказал я решительно работнику, — я не могу принять этих коров. Так и скажи батюшке, что земство не принимает скотины от скупщиков.

Работник почесал затылок и, запинаясь, спросил:

— Так и сказать?

— Так и скажи: от скупщиков не принимаем. Земство не кулак и крестьян обижать не хочет.

Гул одобрения прошел по толпе. Работник погнал попову скотину обратно.

Сочувствие крестьян было на моей стороне, и я, довольный, продолжал свою работу.

Обедал я у Егора. Его невестка, солдатка Аксинья, приготовила мне винегрет из огурцов и картошки и, ставя миску на стол, ласково обратилась ко мне:

— Кушай на здоровье, Миколай Иванович. Поди, намаялся с нашим народом-то.

Аксинья была здоровая красивая женщина лет двадцати. Ее длинные льняные волосы были строго по-бабьи собраны на затылке, и умные голубые глаза сияли добротой и радостью. Вся она, сильная и упругая (иначе нельзя было назвать ее молодых и легких движений), производила впечатление здоровья, молодости и гармонии. Ее низкий грудной

голос, певучий и приятный, дополнял впечатление и действовал как-то умиротворяюще.

— Ну, какая там у меня работа, — ответил я, принимаясь за еду.

— С нашим народом умаешься, — ответила Аксинья,— они, поди, разорвать тебя желали, наши живоглоты-то, мироеды наши. А ты, касатик, не пужайся. Народ, я говорю, бедные мужики, а пуще всего бабы-то все за тебя. Давича я с Матреной гуторила. Уж плакала, плакала она, болезная. Вчерась, говорит, пришел сам поп к ней и велит: «Ты, Матрена, сведи ко мне на двор коровку свою, а то что ж, мол, долгов не отдаешь, а я сам нуждаюсь. Деньги, мол, до зарезу требуются». А Матрена, как я, солдатка. В доме только и работников она да мужнин брат, парнишка еще, да свекор-старик; свекровь прошлого года умерла. У самой мальчишка двух лет. Как долг-то отдашь? А коли корову отберут, пропадать тогда. Ты уж, Миколай Иванович, помоги ей.

Я уверил Аксинью, что коров, таким образом отобранных у крестьян, покупать не буду, и что поощрять кулаков не намерен.

— То-то, соколик, — стыдливо закрываясь рукой, сказала Аксинья, — сердце мое сразу почуяло, что не дашь ты в обиду нас, горемычных.

Я что-то смущенно пробормотал в ответ, но Аксинья продолжала:

— Нет, ты не говори. Человека сразу видно по глазам, какой он есть. Который ежели зло в душе имеет, — либо на людей не глядит, либо, как вор, глазами бегает. А добрый человек, как солнышко, светит, и радостно в глаза ему смотреть.

— Ну, ну, пошла сорока тараторить, — прикрикнул вдруг на Аксинью Егор, — знай свое бабье дело да молчи.

Ты, батюшка, Миколай Иванович, не слушай ее: бабьи прибаутки. Уж коли живоглот, так и с ласковыми глазами штаны и шкуру за милую душу спустит.

Я рассмеялся. Аксинья исчезла, а Егор, набивая трубку, продолжал:

— Одначе, здорово ты их шуганул. Лавочник наш, Алексеев, от злости позеленел, как услыхал слова твои. «Какие мы такие скупщики, — говорит, — ежели мы свое добро продаем. Это, говорит, не по закону он, то есть ты, поступает». Побежал к попу, приятели они. Теперь крепко держись, Миколай Иванович, насядут они на тебя.

— Ничего, выдержим.

— То-то выдержим, — продолжал Егор, сплевывая, — сильный они народ. Все у них в кулаке: не только наша деревня, почитай вся округа. Попова дочка за сыном Алексеева замужем, вот они и орудуют вместе. У попа еще две дочки, приданое им готовить надо, да сын в губернском науку проходит, тоже денежки подавай. Вот он народ-то под ногтем и держит. Вот он и орудует. Ты держись, Миколай Иванович.

— Я по закону действую, и народ видел, что я справедливо дело веду.

— Видел, видел, — запела Аксинья, опять появляясь в избе.

— Не лезь, молчи, когда старшие говорят, — крикнул Егор, но в его окрике не чувствовалось гнева, и Аксинья это хорошо понимала и потому продолжала:

— Я уж с бабочками гуторила. Да и мужики, которые понятие имеют, одобряют. Правильно, мол, ты действуешь, Миколай Иванович.

Егор опять цыкнул на невестку и сказал мне:

— Держись теперь, они насядут на тебя. У них, брат, все в кулаке: и писарь, и староста, и становой. Земский с

попом чаи распивает, в карты дуется, а становой, как кобель, с поповыми дочками так и прыскает. Летось учителя живьем слопали. Учитель тут у нас был, Михей Петрович. Нового прислали. Душа-человек. С мужиками, как свой брат. Большую помощь оказывал мужикам. Кому совет даст, кому бумагу напишет, с кем в город с жалобой поедет. С писарем зуб на зуб. Опять же толковать горазд. Зимой мужиков собирал в школе, читал там разное, как и где мужики живут, как нам жизнь свою на манер другой поставить, чтоб, значит, брюхо не пустое иметь, и все прочее такое. С бабами, одначе, спутался, тут ему и капут пришел.

— Ну что, батюшка, говоришь, — заметила Аксинья,— не путался он с бабами.

Аксинья вся зарделась, как маков цвет.

— Молчи, говорю тебе, — закричал Егор и, обращаясь ко мне, продолжал: — дело такое вышло. Поп, стало быть, задумал за него дочку отдать. Мужик хороший, молодой, не пьет, не курит, с бабами не балуется...

— Да как же ты сказал сейчас, — перебил я его, — что он путался с бабами, оттого и погиб.

— Вот то-то же я и говорю, что, значит, бабья сестра его погубила. Человек молодой, говорю, не пьет, не курит, с бабами не балуется, опять же жалованья тридцать рублей в месяц. И мужики уважают. Поп-то за него и прочил Митродору свою. Ну, а он не того, не по нраву, значит, ему. Только видит поп, что мужиков и баб он стал собирать да девок, в школе-то. Не за чем иным прочим, боже упаси, а грамоте вздумал их учить. Сколько шуму было! Мужики сначала на дыбы. Сколько плачу было, да кос сколько повырвали мужики у девок-то. Одначе, обошлось, уговорили мужиков и всю зиму учил. Человек двадцать, почитай, выучил.

— И я грамоту знаю... — вся зардевшись, сказала появившаяся Аксинья.

— И ее выучил, — подтвердил Егор, — сама мужу письма пишет, сама и от него читает. Только беда от этой грамоты и приключилась. Как, значит, отец Петр головой своей понял, что Митродора Михею Петровичу не по сердцу, и начал его донимать. Как соберутся бабы да мужики в школе, поп с писарем туда. Сидят, слушают, смотрят. А тот знай свое: бе а ба, бе а ба. Ну, только раз ночью слышим: мужики в окно стучат, будят, кричат: «Егор! Буди Аксинью! Жандармы требуют». Господи боже мой! Дело-то такое вышло: приехали из города жандармы, окружили и к Михею Петровичу. Его, значит, голубя, схватили, а в доме у него все перерыли. Как опосля сражения у него в избе: гумаги, книжки эти, вещишки. Увезли, и с той поры сгинул человек, а долгогривый, почитай, каждый день хвалился и проповедь в церкви сказал: паршивую овцу из стада вон.

— Ну, а Аксинью зачем требовали? — спросил я.

— Опрашивали. Как да что. Не вел ли речей против царя, мол, да против бога.

Аксинья высунула голову из двери и, опять вся зардевшись, тихо сказала:

— Никто против Михея Петровича ничего не показал. Знать, мол, не знаем, ведать не ведаем. Грамоте, мол, учил, молитвы, а что касательно прочего, и слыхом не слыхали.

Аксинья подняла передник и, закрывая им лицо, тихо добавила:

— Только что... Михей-то Петрович жив... весточку прислал... из Сибири пишет. Живу, мол, не тужу, и вам заказываю... Не печальтесь, по-нашему будет.

Егор вышел из себя и сердито крикнул:

— Пошла вон! Ух, бабы эти... Точно, волос долог, да ум короток. Сорокой стрекочет... Уйди, говорю, да не болтай зря.

III

Вечером, часов в шесть, я сидел в барском доме и, затягиваясь папиросой, строчил своему приятелю-земцу письмо, где подробно рассказывал о кознях и происках попа и его приятелей. Старинные бронзовые часы времен французской революции чуть слышно тикали, и, казалось, фигуры, украшавшие их, медленно двигались в такт со звуком пружины: Андромаха с отчаянием старалась удержать Гектора, устремлявшегося на поединок с Ахиллом. Со стены смотрел на меня портрет какого-то генерала в платье Екатерининских времен; его лицо, самодовольное, с чувственными губами, лукавым взглядом, как будто срасталось с пышным мундиром, красной лентой, орденами и бархатом и шелком, служившими фоном картины. Всякий раз, как я поднимал глаза на этот портрет, лицо генерала как будто говорило мне: «Брось дело, которое чуждо тебе. Рабы останутся рабами, а жизнь скоротечна, и потому лови часы наслажденья».

Раздался стук в дверь, и на пороге показался Егор.

— Вот тебе цыдулка, Миколай Иванович, — сказал он, подавая конверт, — от отца Петры.

Я вскрыл конверт. В витиеватых выражениях священник просил меня пожаловать к нему сегодня в семь часов вечера откушать запросто чайку, как интеллигентного человека, попавшего в деревенскую глушь.

— Ну, что, итти? — спросил я Егора.

— Стало-быть, итти, — ответил тот.

— А может быть, не ходить: не спроста зовет он меня.

— Стало-быть, не ходи, — согласился со мной Егор.

— Ну, так как же, итти или нет?

— Как будто итти, как будто не ходить, — глубокомысленно сказал Егор.

— Ну, я пойду все-таки: посмотрю, как он там живет и чем дышит.

Егор на этот раз крякнул и заметил:

— Вино там, закуска... поповны... держись, Миколай Иваныч.

Не успел я войти в переднюю дома священника, как на пороге появился отец Петр, в домашнем, но прекрасно сшитом подряснике и со сладкой улыбкой на устах обратился ко мне:

— Добро пожаловать, Николай Иванович! Добро пожаловать в нашу скромную келью. Живем в тесноте, да не в обиде. Вы уж не обессудьте нас. Вы там в столицах привыкли на паркетах, в блеске и пышности.

Келья, в которой я оказался, представляла хорошо, хотя и мещански, обставленную квартиру из семи комнат; у стен гостиной чинно стояли кресла; в простенках висели не только портреты духовных лиц, но и плохие олеографии, изображавшие сцены из истории России; в углу стояло пианино, а на подоконниках неизбежная герань.

В столовой за большим столом, покрытым белой скатертью, уставленным закусками и питиями, с бурлящим самоваром, восседали — попадья, поповны Митродора и Маргарита, фельдшер, писарь и лавочник Алексеев. Попадья была под стать отцу Петру. Низенькая, кругленькая, пухлая, она, казалось, вся заплыла жиром, что не мешало ей быстро двигаться, производя впечатление шара, катящегося тихо и бесшумно.

Митродора — высокая, рыжеволосая, худая девица с энергичными движениями и грубым голосом — врывалась каким-то диссонансом в среду этих упитанных людей, тем более, что и ее сестра Маргарита представляла из себя низенькую, пухленькую, розовенькую, веснушчатую блондиночку лет восемнадцати. Митродоре перехватило уже лет за двадцать пять.

Фельдшер из ротных, с опухшим от пьянства лицом, с огромными усами, поразил меня своим ярко-желтого цвета галстуком и огромным перстнем с каким-то чудовищным ярко-зеленым камнем. Писарь — плохо одетый молодой человек, с бородкой клинушком, с подвязанной платком щекой, с мрачным взглядом — напоминал сторожа при покойницкой. Лавочник Алексеев, коренастый, кряжистый мужик, с красивым лбом и умными глазами, был одет по-городскому.

Вся мужская компания уже достаточно зарядила себя водочкой и, любезно встретив меня, предложила играть в карты. Я отказался. Тогда сам хозяин, отец Петр, лавочник Алексеев, писарь и попадья сели за карточный стол, а мне и фельдшеру предоставили наслаждаться дамским обществом.

Митродора села за пианино, фельдшер Иван Флегонтыч Ножиков и Маргарита начали исполнять дуэт, а я в качестве ценителя одиноко сидел и слушал.

Пели «Не искушай меня без нужды» Глинки. Маргарита визгливым сопрано срывалась на высоких нотах, а Иван Флегонтыч, мрачно уставившись в одну точку, однотонно тянул, как на панихиде — «Вечную память».

— Хорошо? — спросила меня Митродора, когда сиплый бас Ножикова перестал отдаваться в моих ушах.

— Превосходно!

Ножиков мрачно взглянул на меня, а Маргарита кокетливо вздернула носиком.

— Спой, Маргарита, одна.

Маргарита долго жеманилась и наконец, после бесконечных уговоров, начала петь «Мой костер в тумане светит».

Я сидел и невыразимо скучал. Хозяин, заглядывавший изредка к нам, заметил это и, закончив партию, пригласил меня к столу. Меня усиленно приглашали пить; я упорно отказывался и не выпил ни одной рюмки.

Это привело в раздражение всю компанию.

Подвыпивший Ножиков обидчиво сказал мне:

— Вы образованные и пренебрегаете нами, деревенскими.

— Нисколько, я просто не пью.

— Н-да-с! — протянул писарь, — они-с образованные, и потому у них всякие мысли в голове.

Поп недовольно посмотрел на писаря и заметил:

— Николай Иванович не пьют, и это хорошо-с, хотя во благовремении и писание разрешает. Нынче молодежь сурьезная, умственная пошла, идеями разными увлекается.

— Супротив властей больше, — вставил Алексеев и, обращаясь ко мне, спросил, — а почему, собственно, дозвольте спросить вас, Николай Иванович, вы не изволите учиться, а вне учебного заведения находитесь?

«С ними ухо востро держать нужно!» подумал я и ответил, что занятий в университете нет и что я, не желая впутываться в политические дела, уехал от греха подальше.

Одобрительные возгласы были ответом на мои слова.

— Вот и хорошо, — сказал поп, — а то, знаете, мы вас тоже причислили к красной сотне.

— Это почему же? — спросил я.

— Да как же? Подручным у вас Егор, мужичонка вредный, компанию ведет с красными. Сам устроитель дела всего (поп назвал моего приятеля-земца) тоже из красных. Да и главное, шаги ваши первые странные какие-то: вы отказались принять коровок-то наших...

Я объяснил, что не знаю ни красных, ни черных, что меня послало земство, что Егора мне рекомендовал Самурин и что земство же запретило покупать коров у скупщиков.

Поп поморщился, а Алексеев с хитрой улыбкой спросил меня:

— А сколько вы жалованья получать изволите?

Я ответил, а поп обидчиво, как бы возражая мне, заметил:

— Ну уж, Николай Иванович, и слова-то вы какие-то странные употребляете: скупщики! По-вашему, коли я свое добро получаю и продать его желаю, так я и скупщик.

— А что касательно Самурина, — пробасил фельдшер, — то одно слово — социалист и преступник. Давно по нем виселица плачет.

— Подальше от него держитесь, голубчик, — посоветовал мне совсем опьяневший писарь, — я давеча как рассказал о нем в городе становому, так тот прямо приказание дал: опиши, говорит, скорее все и мне представь... И опишу, и опишу, ей-богу, опишу.

— Дело дрянь, — подумал я и, подлаживаясь под тон компании, стал выражать свои патриотические чувства.

Ушел я, отговорившись тем, что мне необходимо рано вставать, так как крестьяне начинают приводить коров чуть ли не на заре.

Наутро я поделился своими впечатлениями с Егором и особенно подчеркнул намеки на то, что Егор водит компанию с крамольниками.

Егор сплюнул и заметил:

— Они давно точат зубы и на меня и на агронома; потому — Миколай Миколаич с ими компании не водит, а я им тоже поперек горла, как всегда, значит, супротив них иду.

Не успели мы обменяться несколькими словами с Егором, как в избе появился попов работник.

Низко кланяясь, он подал мне письмо. Я разорвал конверт и остолбенел от удивления: в конверте не было ни письма, ни записки, а только аккуратно сложенные две де-

сятирублевки. Вызвав Егора и Аксинью, я показал им конверт и деньги и спросил работника:

— Не ошибся ли ты, братец? Здесь деньги, и, вероятно, батюшка посылал тебя куда-либо в другое место.

— Никак-с нет-с! — ответил работник. — К вашей милости. Иди, говорит батюшка, и отдай им, то-есть вам, барин, письмецо и кланяйся, а ответа не требуется.

— Ловко! — сказал Егор.

— Ну, так вот что, голубчик, — сказал я, — отнеси эти деньги назад и скажи батюшке, что я взяток не беру, а вы, — обратился я к Егору и Аксинье, — будьте свидетелями, что поп мне взятку прислал. А пока-что протокол составим, и вы все руку приложите.

Я быстро составил протокол, заставил подписаться Егора и Аксинью (Аксинья расписалась за Егора) и вновь вошедших мужиков, которым я изложил суть дела.

— Ну, иди, братец! — сказал я работнику.

— А как же коровок-то, что батюшка прислал, вы возьмете? — спросил меня работник.

— Каких коровок?

— Да как же, я привел двенадцать коровок от батюшки.

Мужики засмеялись, а я и это обстоятельство прибавил в протоколе и снова заставил мужиков засвидетельствовать своими подписями (они поставили кресты, а Аксинья за них подписалась).

Работник ушел, а я стал принимать крестьянских коров.

Утро это и было началом моей войны с черными силами деревни.

Не прошло и трех дней, как я стал чувствовать вокруг себя враждебную атмосферу: крестьяне, дотоле охотно и доверчиво ко мне относившиеся, стали молчаливы со мной и обходили стороной, когда я появлялся в деревне.

Я поделился своими впечатлениями с Егором. Тот нахмурился и сказал:

— Дело ясное. Они тебе этого не забудут. Вот ты уже дня три мужикам не платишь, а они и говорят народу, что ты деньги себе берешь и на красную сотню отдаешь.

Дело принимало плохой оборот: у земства не было денег, и Самурин писал мне, что скоро приедет и сам объяснит мужикам все причины задержки.

Действительно, дня через два Самурин приехал. Я рассказал ему все происшедшее и спросил, как теперь держать себя.

— Да, батенька, история! — заметил Самурин, — влипли вы. Однако насчет взятки дадим делу ход, а мужикам я объясню, что через две недели земство получит деньги и мы расплатимся. Положение у нас с деньгами критическое: мы ведь и служащим вот уже месяц как ни копейки не выдаем, нет денег, я и сам ни копейки не получил. Правительство накануне краха, понимаете, дорогой мой, а мы накануне победы.

Я созвал крестьян, и Самурин в пространной речи объяснил им причины задержки расплаты. Он не упустил случая довольно ясно и без обиняков рассказать, что делается в городе, как бастуют рабочие, как в Питере образовался Совет рабочих депутатов и чего он добивается.

Мужики молча и сумрачно выслушали его и молча разошлись. Заметив в толпе писаря и Алексеева, я попенял Самурину за его слишком откровенные речи, но когда тот сказал: «Э, батенька, дело идет к развязке!» я заметил: «И то верно, чего тут в прятки играть!»

Самурин привез мне письма, из которых я с радостью понял одно: меня звали в город. Я решил ехать немедленно, и вечером, когда оставшийся на ночь Самурин пришел ко мне, мы порешили, что он завтра едет в город, находит

там подходящего человека, тот дня через два сменяет меня, и я свободен, как птица.

Сидя за самоваром, под тиканье часов с Гектором и Андромахой, я слушал восторженные рассказы Самурина и предвкушал удовольствие от того, как я засяду за чтение кипы газет, привезенных из города.

Было уже заполночь. Самурин спал сном здорового человека в соседней комнате, а я сидел и читал новости. Вдруг раздался тихий стук в окно. Я быстро вскочил и подбежал к окну. Свет мешал мне видеть, что делается в темноте сада. Я приложил глаза к стеклу и сначала даже испугался: на меня смотрели расширенные зрачки какого-то лица.

— Это я, *Миколай* Иваныч! — услышал я сквозь стекло.

Я узнал голос Аксиньи.

Минут через пять она стояла в моей комнате; она была в мужских сапогах, старенький платок покрывал ее голову и плечи.

— В чем дело?

— Да беда, Миколай Иваныч! — ответила волнуясь Аксинья, — завтра поп и его идолы иконы поднимают. С патретом царя по деревне пойдут и наперед к вам в усадьбу. Матрена у попа работала, слышала, прибежала и мне рассказала. А я... к тебе... думаю, как бы чего дурного ему, то-есть вам-то, Миколай Иваныч, не приключилось.

Аксинья густо покраснела и закрылась платком.

Расспросивши Аксинью, я убедился, что поп и его черная сотня организуют черносотенную демонстрацию.

— Ну, что ж, — обратился я к Аксинье, — спасибо.

Я пожал ей руку, она ответила пожатием и, вся зардевшись, исчезла в темноте.

IV

Когда на утро я рассказал Самурину о ночном посещении Аксиньи, тот рассвирепел.

— У, проклятые черносотенники! Это все поп да писарь. Ну, ладно. Я же им покажу!

— Что же вы им покажете? — с недоумением спросил я.

— А вот что! — ответил Самурин и, выйдя в другую комнату, вернулся со свертком, из которого и вынул листок: это была прокламация, приглашавшая мужиков брать землю.

— Распространим и посмотрим, что запоют они, когда мужики начнут громить их.

Из дальнейшего выяснилось, что Самурин давно уже нащупывал почву и может смело ручаться, что у него здесь есть люди, которые сумеют сделать все, что он захочет.

Я прочел прокламацию. К великому удивлению, я увидел, что это был листок нашего социал-демократического комитета к крестьянам.

— Но позвольте... — смущенно спросил я.

— Чего там позвольте! — ответил Самурин, — наша эсеровская группа даже гектографа не имеет, а у вас типография есть. Ну, вот я прочел эту прокламашку и решил предложить свои услуги по распространению. Вам только радоваться остается.

Мы посмеялись. Однако мне неясно было, кто же будет разбрасывать.

— Чудак вы, право! Да те, кто вашу персону предупреждают.

— Аксинья?

— Ну, конечно, да и Егор помогать будет.

Лицо мое, повидимому, был очень комично, потому что Самурин рассмеялся и заметил:

— Не удивляйтесь! Ведь не поп же с его Митродорой будет крамолу разводить.

Не успели мы еще попить чаю, как раздался колокольный звон, и минут через двадцать мы увидели толпу мужиков, во главе с попом. Мужики шли с непокрытыми головами, некоторые из них несли хоругви, человек восемь тащили на руках большую икону, а двое несли портрет царя. Поп с крестом в руках командовал толпой. Рядом с ним выступали Митродора, Маргарита, писарь, фельдшер и Алексеев. Толпа тянула: «Боже, царя храни» и приближалась к нам.

Она ввалилась во двор и подошла к дому.

— Шапки долой! — заорал фельдшер, махая нам.

Но мы стояли без шапок на крыльце, и потому не было надобности ни в этом крике, ни в приглашении петь гимн, так как толпа нестройными голосами продолжала тянуть его.

Толпа потопталась на месте.

Писарь крикнул:

— Ура! ура! государю императору ура!

Толпа подхватила.

Прокричав ура, толпа повернула и с пением гимна двинулась обратно.

После чая Самурин долго о чем-то совещался с Егором, и я отлично понимал, о чем шла речь на этом совещании.

Весело насвистывая, Самурин шел со мной в избу к Егору принимать коров.

Когда мы подходили к избе, мы увидели густую толпу мужиков, окружавших избу.

— В чем дело? — спросил Самурин Егора.

— Да за деньгами пришли к тебе, — ответил тот.

— Разве так много мужиков продали коров?

— Ну, которые за деньгами пришли, а которые так... зря.

Самурин велел Егору заложить беговые дрожки, на которых он приехал, и вместе со мной вышел к мужикам.

— Ну, что скажете, господа старички? — обратился к крестьянам Самурин, небрежно приподнимая фуражку.

Кое-кто из мужиков тоже снял шапки, но большинство не ответило на приветствие агронома. Самурин помолчал, помолчали мужики.

— Ну, так как же? — спросил Самурин.

— Деньги давай! — раздалось из задних рядов. — Давай деньги! Деньги плати!

Самурин минуты две помолчал и, уверенный в себе и в справедливости и разумности тех доводов, которые он сейчас приведет, начал объяснять, что земство сейчас в затруднении, что сейчас нет денег, но что за земством деньги не пропадут, что даже служащие не получали жалованья, и что беспокоиться не о чем. Не больше как через две недели контора по покупке коров расплатится с крестьянами.

Крестьяне сумрачно молчали.

— Ну, так как же? — спросил опять Самурин.

Мужики ничего не отвечали. В это время подъехали беговые дрожки, и Егор бросил вожжи на сиденье.

Белый рысак пугливо покосился на толпу, но Самурин потрепал его по шее, и он успокоился.

— Ну, так и порешим, — сказал Самурин, — я еду, а через неделю пришлю деньги.

— Ну, ладно! — сказал старик-крестьянин, — ты уж побеспокойся, Миколай Миколаевич! Мы на тебя, как на каменную гору, надеемся.

— Хорошо, дедушка! — мягко ответил Самурин, — не сомневайся.

Он взял вожжи и хотел уже садиться на дрожки, как из задних рядов снова раздался крик:

— Деньги давай! Сейчас плати. Не пускай его, робя!

Самурин нахмурился, сел на дрожки и тронул вожжи. Вдруг из толпы выскочил мужик, схватил лошадь под уздцы и остановил ее.

— Не пускай его! — крикнул он, — расплачивайся, а тогда и уедешь!

Я придвинулся к Самурину.

— Дайте, я поговорю с ними! — сказал я.

Самурин пожал плечами и ответил:

— Обойдется и так. А впрочем, как хотите.

Я хотел было стать на дрожки, как кто-то дернул меня за руку.

Это была Аксинья.

— Молчи ты ужо! — прошептала она, — без тебя обойдется.

Я отстранил ее, но она с такой силой дернула меня за руку, что я чуть не упал на нее.

Самурин взял вожжи в руки и, обращаясь к крестьянам, сказал:

— Говорю же вам, что вышлю деньги. Нет денег у земства. Не земство в этом повинно, а... — и Самурин, вдруг покрасневший и возбудившийся, начал рассказывать о том, что делалось в Петербурге, на фронте, о забастовках рабочих, о борьбе правительства с народом.

Мужики слушали его. Вдруг в тот самый момент, когда он стал говорить, как царь отказывается созвать выборных от земли, раздались крики:

— Государю императору ура! Бей его! Красную сотню бей!

Самурин побледнел. На него бросились два мужика. Самурин ударил вожжами и крикнул лошади. Рысак рванулся и врезался в толпу. Кто-то из мужиков упал, и в

то же время огромный кол опустился на голову Самурина.

Удар пришелся в висок, и струя алой крови брызнула в толпу. Самурин пошатнулся, а удар за ударом сыпались на него. Я бросился к нему.

— А! — услышал я, — бей и этого!

Вдруг между мной и мужиком, устремившися на меня, выросла фигура Аксиньи.

— Да ты ополоумел! — крикнула она, — креста на тебе нет!

И, не дожидаясь ответа, она с такой силой схватила мужика за шею и так сжала его, что глаза его вылезли из орбит.

Оттолкнув его так, что он упал на землю, она с нечеловеческой силой схватила меня и повлекла за собой.

— Убьют! — шептала она, — беги!

И в одно мгновение она втолкнула меня в избу и затем выпроводила в огород, и я остался один.

Аксинья снова бросилась на улицу и вновь, вернувшись ко мне, крикнула:

— Убили! Ищут тебя! Беги за мной!

Она схватила меня за руку и быстро увлекла за собой.

Пробежав огород, мы спустились по косогору и очутились на дороге, ведущей к лесу.

— Ну, вот, слава богу, пришли! — сказала Аксинья и постучала в окно лесной сторожки.

— Деда! дедушка! — крикнула Аксинья.

Вышел старик, коренастый, как дуб, и еще крепкий и сильный.

— Побереги ты его, христа ради, а то долго ли до греха, коль мужики зашумели.

— Ладно! — сказал дед, пропуская нас в избу.

Аксинья села на лавку и как-то сразу размякла: от прежней сильной и даже воинственной Аксиньи не оста-

лось и следа. Она по-бабьи подперла подбородок рукою и заплакала.

— Что с тобой, Аксиньюшка? — спросил я и взял ее за руку.

— Напужалась я, родной: боялась, а как они и тебя-то... Одначе, вот уберегла тебя.

Ее красивое, милое лицо покрылось румянцем и засветилось той высшей красотой, которой светится лицо человека всякий раз, когда он умеет возвыситься над животным началом своего существа.

Я молча с благодарностью пожал ее руку.

Было часа четыре, когда я усаживался в тарантас барского имения. На козлах сидел Егор. Аксинья провожала меня.

— Ну, трогай милые! — дернул вожжами Егор.

Лошади тронули.

Аксинья, печальная и задумчивая, стояла, облокотившись о березку.

— Прощай, Аксюша!

— Прощай, милый!

— Не поминай лихом!

— Будь здоров, хороший мой.

Лошади побежали рысью. Егор обернулся и с сердцем ударил вожжами.

— Стоит! — сказал он.

Я посмотрел назад. Аксинья все в том же положении стояла у березки.

Я махнул ей рукой. Она ответила.

Лошади свернули на дорогу, покрытую по сторонам густым лесом.

Мы долго молчали.

Наконец лес кончился, и мы очутились на равнине.

Закат догорал на западе. Сумерки сгущались.

— Посмотри! — сказал Егор, указывая кнутом на восток, — будут они помнить Самурина.

Я обернулся. Восток пылал.

— Что это?

— Горит поповский хутор, Алексеев и барские усадьбы.

— Неужто?..

— Не, не наши усадьбы, а в округе да попов хутор.

Зарево то погасало, то, раздуваемое ветром, обнимало весь горизонт. Было светло, как днем.

— Ну, прощай, Егор, спасибо! — говорил я, влезая в вагон поезда, остановившегося минуты на две на захудалой станции.

— Прощай.

— Да пожелай здоровья Аксинье.

Егор усмехнулся и прошептал:

— А листки-то эти она ловко... того... раскидала-то.

Поезд тронулся. Я подошел к окну. Восток разгорался все сильнее и сильнее.

БРАУНИНГ.

(Памяти моего друга, рабочего-электрика Д. К. Тимофеева).

Я ехал по Николаевской железной дороге на Москву, как-раз в один из тех дней, когда после декабрьского восстания враги пролетариата правили свою кровавую тризну.

В вагон третьего класса, начиная от Твери, набилось множество народа. Это были по большей части подмосковные крестьяне и крестьянки, ехавшие с молоком и прочим продовольственным товаром, в котором ощущалась большая нужда в столице.

Из людей «благородных», кроме меня, сидел еще только молодой человек, еврей, жгучий брюнет, в барашковой шапке и штатском пальто, под которым виднелась студенческая тужурка. Странное впечатление производила его шапка, которая, повидимому, была велика для него, так как она поминутно съезжала с его головы, и он время от времени поправлял ее.

Разговор вертелся вокруг тех жгучих событий, ареной которых служила Москва. Пассажиры, не стесняясь, делились впечатлениями, и самые ужасные картины насилия и издевательства, зверства и глумления встали перед моим умственным взором.

Особенно резко и безо всяких обиняков и недомолвок выражались женщины, как крестьянки, так и жены рабочих, возвращавшиеся из подгородных деревень, куда они уехали после начала восстания.

Рассказывали о том, как при выходе из вагонов всех пассажиров встречали вооруженные жандармы и солдаты, как они обыскивали подозрительных, по их мнению, лиц, и как, найдя у кого-либо не только оружие, а просто какой-либо предмет, указывавший на прикосновенность к революционному или оппозиционному движению, арестовывали хозяина этих предметов. Людей, у которых находили револьвер, ждала более тяжелая участь.

Это последнее обстоятельство меня очень заинтересовало, так как в кармане брюк у меня находился новенький, почти не бывший в употреблении браунинг.

«Ну, — думал я, — авось как-нибудь пройдет мимо».

Рядом со мной сидел рабочий лет сорока. Его мужественная фигура, открытое, смелое лицо, блещущие умом глаза сразу как-то понравились мне. Мы очень скоро разговорились. Он в общем подтверждал рассказы, которые велись вокруг нас, но всякий раз, когда тот или иной рассказчик хватал через край, он иронически улыбался и вставлял те или иные замечания. Однако и он говорил, что даже провизионка, то есть железнодорожный билет для поездки за продовольствием, не спасает от обыска.

Черноволосый студент, сидевший на противоположной скамье, внимательно слушал наш разговор, изредка выглядывая из-за длинного листа газеты «Новое время». Лицо его было спокойно и не выражало ничего, кроме весьма понятного внимания к тем рассказам, что велись в вагоне.

За две остановки до Москвы вагон неожиданно наполнился жандармами, солдатами и какими-то подозрительными субъектами, которые шныряющими взглядами оглядывали всю публику.

Один из этих субъектов почему-то внимательно и долго остановился своими ощупывающими глазами на нашем черноволосом спутнике, однако вся эта свора жандармов и шпионов не задержалась в нашем купе и прошла дальше.

— Это предвестники того удовольствия, — сказал мне рабочий, — которое мы будем иметь на станции.

«Эге, — подумал я, — дело-то, действительно, дрянь. Как же мне быть с моим револьвером?» Я невольно ощупал карман.

«Выбросить незаметно, что ли?» подумал снова я. Но как только я подумал это, жгучая краска залила мое лицо.

«Как? выбросить браунинг, испугавшись жандармов?» думал я. «Нет, никогда!»

Рабочий, повидимому, заметил мое беспокойство и, наклоняясь ко мне, тихонько сказал:

— Знаете, в такие времена лучше не иметь с собой оружия!

— Вы думаете? — спросил я его.

— Еще бы! Лучше не иметь, а то как бы чего не вышло.

«А что, если ему сказать, что со мной револьвер?» мелькнуло у меня в голове.

«Ну, и глупо, — возмутилась вдруг моя революционная совесть, — во-первых, это может быть провокатор»...

Однако лицо моего пролетария было так прекрасно, глаза его смотрели так серьезно и честно, и весь он производил впечатление такого искреннего человека, что эти мысли не вязались с его фигурой.

«Ну, а если я даже скажу ему это? — подумал снова я, — что же из этого выйдет? В сущности — первый встречный, хотя и рабочий».

Тем не менее я еще раз схватился рукой за карман.

Это движение не ускользнуло от моего спутника.

— Берегите карманы, — тихо опять сказал он, — здесь много воров.

На эти слова я, точно повинуясь какому-то безотчетному чувству, так же тихо ответил ему:

— Товарищ! Это не деньги, а...

Я не договорил. Рабочий посмотрел на меня и тихо протянул:

— А... а...

Посидев молча минут пять, в течение которых я ругал себя мысленно самыми последними словами, пролетарий тихо, обратившись ко мне, шепнул:

— Я выйду к уборной. Выйдите за мной.

Он поднялся с места, держа в руках большой кувшин, который он схватил за веревочку, обвязанную вокруг горла.

Я тотчас же, не обращая на себя внимания, вышел за ним.

Рабочий стоял подле уборной. Улучив минуту, когда уборная освободилась и в проходе никого не было, он быстро шепнул мне:

— Давайте ваш револьвер!

Я так же быстро вынул свой браунинг и передал ему.

Он тотчас же скрылся в уборной. Минут через десять он вышел из уборной и как ни в чем не бывало обратился ко мне:

— Скоро Москва!

— Да, — ответил я, — но... где мой... вы выбросили его?

— Молчите! — вдруг почему-то сердито ответил пролетарий, — взялся за дело, так сделаю его. Молчите и выходите на станции за мной. В чемодане у вас нет ничего?

— Кроме «Нового времени» и двух пар белья.

— Нет, я не об том... а запрещенного?

— Ничего.

— Ну, тогда дело в шляпе.

Он улыбнулся, и мы пошли и уселись на старое место. Какой-то пассажир из крестьян, увидя возвращающегося рабочего с кувшином в руках, ткнул пальцем в кувшин и вопросительно бросил:

— Что это ты все носишься с кувшином, миляга?

— А тебе что, завидно? — ответил рабочий и, ни к кому особенно не обращаясь, добавил, — масло везу.

— Эти пяташники, — сказал он мне, — воспользовались положением и дерут за масло шкуру, а в городе масла совсем нет, вот я и поехал к сестре в деревню. Везу теперь детишкам.

Рабочий приоткрыл бумажку, закрывавшую кувшин, и все увидели прекрасное сливочное масло, доверху заполнявшее сосуд.

— Почем брал? — спросила рабочего какая-то женщина.

Рабочий ответил, и начались разговоры о дороговизне продуктов в Москве.

Между тем поезд приближался к Москве.

Замелькали вагоны, блок-посты, водокачки, станционные будки и габариты. Вагоны прыгали по стрелкам, и паровоз замедлял ход. Промелькнул семафор, и машинист стал давать контр-пар и тормозить.

Небольшой толчок, и мы остановились.

Публика стала выходить, но кондуктор остановил нас, сурово заметив:

— Ну, куда лезешь? Не видишь, что ли? Не пускают.

Он захлопнул дверь.

Прошло минут двадцать томительного ожидания. Я рассмотрел место нашей остановки. Это был один из тупиков вдали от дебаркадера. В окно виднелись солдатские штыки и лица изредка проходивших пассажиров.

Наконец мы двинулись к выходу.

Недалеко от вагона стояла кучка солдат с винтовками, жандармы в полном вооружении и офицер, молодой человек немецкого типа, в шинели, затянутой ремнем, как на военном положении. Нафабренные усы офицера торчали, как у таракана, а бледная кожа и мешки под глазами сви-

детельствовали о ночи, проведенной без сна. Офицер стоял, расставив ноги, и отдавал приказания.

Пассажиры проходили мимо него, жандармов и солдат, и он говорил:

— Пропустить!

— Обыскать!

В первом случае пассажира пропускали направо, и он, как на крыльях, мчался к дебаркадеру, где толпилась кучка носильщиков, а во втором пассажир в сопровождении жандарма исчезал за углом какого-то здания. Жандарм возвращался, и очередь доходила до следующего пассажира.

Впереди меня шел мой рабочий с корзиной, наполненной хлебом и мясом, в одной руке и с кувшином в другой; перед ним, через одного человека, шел наш черноволосый студент.

Как только он поровнялся с офицером, тот в упор взглянул на него и спросил:

— Оружие есть?

— Нет! — резко ответил студент.

— Открыть чемодан! — скомандовал офицер.

Студент наклонился и стал отпирать чемодан, и в тот момент, когда он наклонил голову, шапка слетела с его головы, и что-то черное упало на землю.

— Так у тебя нет оружия? — со злобой, изменившись в лице, спросил офицер.

— Поднять! — крикнул он, и двое жандармов бросились к черному предмету, выпавшему из шапки студента.

— Браунинг, ваше благородие! — отрапортовал жандарм.

— Так! — сказал офицер и, обращаясь к студенту, крикнул: — Прямо! марш!

Студент поднял шапку, надел ее, поправил и, взяв небольшой чемодан, направился не налево, не направо, а

прямо вдоль пустых путей, по направлению протянутой руки офицера.

Он шел, как-то согнувшись весь, втянув голову в плечи, изредка оглядываясь на офицера.

— Ну, не оглядываться, негодяй! — крикнул офицер и махнул рукой.

Двое солдат выступили вперед, как на ученье, вскинули ружья и прицелились.

Раздался треск выстрелов, и студент, как будто бы его кто-то сильно толкнул в спину, или он внезапно споткнулся, упал прямо лицом вперед. Шапка его слетела с головы, и на черных густых волосах показалась струя крови.

Ноги его раскинулись в сторону, а левая рука, в которой он зажал ручку чемодана, судорожно дергалась и дергала чемодан, и от этого чемодан как-то страшно двигался взад и вперед.

Все замерли. Я почему-то смотрел не на студента, а на чемодан, как живое существо прыгавший на земле.

— Ну! проходи дальше! — закричал офицер.

— Оружие есть? — свирепо обратился он к рабочему.

— Смотрите. Продукты. Провизионный билет.

Жандарм подскочил к моему пролетарию и стал рыться в корзинке.

— А это что? — спросил он рабочего.

— Масло.

— Попробуй! — скомандовал офицер.

Жандарм вынул шашку и всунул в кувшин с маслом. Шашка свободно прошла в кувшин, и, когда жандарм вынул ее, она вся была покрыта кусочками маслянистой жидкости.

— Не динамит? — спросил офицер.

— Никак нет, ваше благородие! — сняв с шашки кусочек масла, лизнул его языком, — масло, ваше благородие!

— Масло испортил! — обратился рабочий к жандарму.

— Что? — заорал офицер и, подойдя к рабочему, изо всей силы ударил его по лицу.

Кровь залила лицо моего пролетария. Он стиснул зубы и опустил глаза.

— Пошел направо, мерзавец! — крикнул офицер, и мой пролетарий, подхватив корзину и кувшин, двинулся к дебаркадеру.

Осмотрев мой чемодан, жандармы показали офицеру «Новое время».

— Ладно! — процедил тот сквозь зубы и снисходительно посмотрел на меня, как бы говоря глазами: «Идиоты! Ничего не понимают».

— Направо!

Я взял свой чемоданчик и побежал за рабочим.

Когда я догнал его, он уже вытер лицо, и глаза его, как и прежде, сияли умом и решимостью.

— Товарищ! — воскликнул я, сжимая его руку.

— Ничего, — ответил он, — зайдем ко мне. Я живу недалеко отсюда. Здесь отдавать револьвер неудобно.

Скоро мы сидели в небольшой квартире, состоявшей из одной комнаты и кухни.

На столе кипел самовар; молодая хозяйка, жена рабочего, весело угощала меня чаем и хлебом с маслом, а приветливый хозяин, потрагивая распухшую щеку, говорил:

— И на нашей улице будет праздник!

Когда я, со своим браунингом в кармане, уходил от своего нового приятеля и товарища, он, шутя, говорил мне:

— Услуга за услугу: вы привезете мне такой же браунинг, как и ваш.

Я исполнил обещание. Браунинг я привез, и узы дружбы скрепили наше знакомство. Мой новый товарищ стал моим лучшим другом. Браунинг, подаренный мной, он со-

хранил до Октябрьской революции и с ним в руках был на фронте против Колчака, где и погиб под пулей врага.

Умирая в полевом госпитале, он не забыл и меня: пересылая последнее «прости» жене, он просил его браунинг передать мне; и я храню его, как священную реликвию дружбы и революции.

УГОЛ ЛИТЕЙНОГО И НЕВСКОГО.

(Е. М. Сафоновой).

Комитет решил не принимать участия в этой демонстрации, так как организовали ее не мы и, главное, так как повод к ней — смерть хотя и почтенного и либерального, но чуждого нам деятеля — не мог быть поводом для устройства классовой демонстрации пролетариата.

Тем не менее в качестве наблюдателей решено было отправить на место действия несколько человек, доверенных комитета.

Я предложил свои услуги и, сопутствуемый своими друзьями — Петькой Кеслером и Козьмой Большаковым, направился сначала на похороны, а затем и на демонстрацию.

Народу собралось множество: весь цвет либерального и демократического общества, ученые, художники, дамы из породы жен-мироносиц и главным образом учащаяся молодежь — студенты, курсистки, гимназисты и гимназистки.

Петька Кеслер — студент-техник, фанатик-большевик, ненавидевший либералов и меньшевиков, специалист по «безбожным делам», в невероятно обдерганной шинели, фуражке блином и стоптанных русских сапогах — был до фанатизма предан революции и комитету и потому всегда смотрел на действительность так, как, ему казалось, в данный момент смотрел на нее секретарь комитета — всеми уважаемая и непреклонная тетя Соня. Он презрительно поглядывал на толпу гимназистов и время от времени отпускал ядовитые замечания.

— Карандаши! Разве это демонстрация?.. Разве может пойти за либералами подлинный народ? Революционеры!..

Разделяя его мнение по этому вопросу, я хотел было предложить товарищам разойтись по домам, как услышал замечание Большакова:

— Подождем. Либералы, они... конечно, того... жидковаты и ненадежны... одначе, пущай шевелятся.

Большаков, московский рабочий, металлист, видавший виды, был также непреклонным большевиком, но отличался трезвостью мысли и практичностью. Он редко пускался в теоретические рассуждения и придавал значение только делу. В своих суждениях был краток и решителен. Среднего роста, он производил ошеломляющее впечатление, так широки были его плечи и грудь, так плотны были его руки, и так похожа была вся его фигура на высеченный из одного цельного куска камня могучим скульптором какой-то образ предъистории человечества.

— Толку никакого из их шевеления не выходит, — сказал Кеслер.

Большаков сплюнул и энергично произнес:

— Постегать бы их маленько!..

— Жандармы и нагаек тратить не станут на них, — со смехом ответил Кеслер.

— Ну, увидим еще, торопыга, — ласково глядя на Кеслера, заметил Большаков.

Мы пошли на кладбище. С трудом пробравшись сквозь толпу, мы взобрались, по примеру других, на деревья и наблюдали всю церемонию: движущуюся толпу, венки; слушали речи, ловили мимолетные разговоры и перекидывались замечаниями.

В сумерках умиравшего осеннего дня и кладбище, и эта необычная толпа, и движение производили изумительное впечатление: поредевшая листва пропускала лучи заходящего солнца, на лицах дрожали отблески зари, и казалось,

что люди, толпившиеся у могилы, совершают какое-то странное древнее действие.

Гроб опущен в могилу, холм земли насыпан над ним, речи сказаны, и люди стали постепенно расходиться: прежде всего уехали в собственных экипажах люди общества, затем укатили наемные дрожки, и, наконец, быстро исчезли мирно настроенные элементы, рассеявшись в боковых улицах. Осталась толпа молодежи, среди которой было очень немного рабочих.

Толпа эта суетилась, что-то кричала и двигалась нестройными рядами от кладбища к городу.

Раздалось пение и оборвалось; в другом месте его подхватили, и послышались звуки всем известных революционных песен, особенно любимых социалистами-революционерами.

— Ну, вот видите... — обратился к нам Большаков.

— Так ведь это же не либералы, а карандаши, — ответил Кеслер.

Мы вмешались в толпу и пошли с ней.

— А посмотри-ка, — вдруг обратился ко мне Большаков, — калитки-то все на запоре, и дворники внутри.

Это было действительно так и означало, что полиция дала заранее такое распоряжение, ожидая беспорядков.

Темнота между тем быстро спускалась на землю, и тускло горевшие фонари не могли рассеять ее.

Шаги толпы гулко раздавались по мостовой, и пение, то замиравшее, то вновь подхватываемое, печально звучало среди мрачно смотревших темными окнами домов.

Вдруг вдали послышался странный, звонкий, непривычный для слуха звук, напоминавший удары железа о камень.

— Казаки! — сказали в один голос Большаков и Кеслер.

Действительно, вдали показались казаки. Они ехали рысью, и копыта их лошадей звонко стучали о мостовую.

Толпа тоже заметила их и дрогнула. Казаки внезапно остановились и, повидимому по команде, быстро и стройно разделились на две части: одна из них повернула в переулок и ускакала, а другая, обратив тыл, умчалась по направлению к городу.

В толпе демонстрантов кто-то закричал:

— Товарищи! Стыдно! Казаков испугались! Дружнее и вперед!

Толпа, однако, поредела: кое-кто исчез в боковых переулках, кое-кто благоразумно уходил назад и также исчезал в боковых улицах.

Большаков вдруг стал прислушиваться.

— Ах, чорт! Понял!.. Это они хотят нас и спереди и сзади. Понимаете?

Действительно, мы услышали звук копыт сзади и не успели сообразить это, как прямо перед нами выросла другая часть отряда: она была шагах в трехстах.

Казаки неслись на нас во весь опор и вдруг, внезапно, не доезжая шагов ста, остановились, как вкопанные.

Казаки, ехавшие сзади, повернули назад и снова исчезли в боковой улице.

Толпа в недоумении остановилась. Но вот в отряде, стоявшем против нас, произошло какое-то движение, и вдруг раздался оглушительный сухой треск... Раз... другой... третий... Тьму прорезал мгновенный огонь.

Стоны, крики и раздирающие душу вопли раздались вокруг нас. Недалеко от нас упал со стоном студент.

Толпа в ужасе дрогнула и ринулась назад, давя раненых и упавших. Но в то же время казаки, и бывшие против нас и появившиеся снова сзади, с двух сторон бросились на толпу. Через несколько мгновений, вместо демонстрации, воцарился какой-то хаос.

Всадники, с нагайками в руках, с блестевшими шашками и с винтовками за плечами били и рубили толпу, сжимая ее все больше и больше.

Дикие лица казаков, налитые кровью, мелькали повсюду, в ушах свистели удары нагаек и сабель, неслись отчаянные стоны и вопли.

Мы сначала держались вместе. Вдруг к нам подлетел казак и замахнулся шашкой. Кеслер, как кошка, увернулся от удара и пырнул лошадь ножом. Та взвилась на дыбы, а казак, не удержавшись в седле, со всей силой своего размаха грохнулся наземь. Я успел заметить только его голову и струю крови, сочившуюся из раны.

— В палисадник! в палисадник! — вопил Большаков.

И в мгновение ока он бросился на тротуар к палисаднику, с нечеловеческой силой вывернул одну палисадину и стал ею орудовать, как палицей. Последовав за ним, я напрасно пытался сделать то же. Но в этом, пожалуй, не было и нужды, так как Большаков работал своим орудием, как какой-то великан: он ударом в грудь сбил одного казака и так сильно зацепил по руке другого, что тот выронил шашку.

На нас мчались другие казаки на помощь павшим товарищам.

— Ходу, Владимир! Ходу! Через забор!

Он быстро вскочил в палисадник. Я побежал за ним. Обдирая лицо и руки о кусты и деревья, росшие в палисаднике, мы подбежали к концу насаждений. Дальше шел невысокий забор.

— Через забор! — скомандовал Большаков.

Я разогнался изо всей силы и, подталкиваемый Большаковым, схватился руками за край забора, поднялся и прыгнул. Большаков сделал то же.

Мы упали на какую-то железную крышу какого-то низенького сарайчика и были теперь недосягаемы для казаков.

Нам была видна вся улица. Осторожно выглянув через забор, мы заметили, как по направлению к нам бежит девушка: без шапочки, в расстегнутой шубке, она бежала к забору. Казак мчался за ней. Добежав до забора, она с отчаянием посмотрела на нас. Большаков крикнул:

— Прыгайте! давайте руки.

Девушка подпрыгнула, протянув руки, которые Большаков ловко схватил своими железными лапами.

— Владимир, помоги! — крикнул он.

Я схватил другую руку девушки, и мы, как перышко, подняли ее.

Но казак был уже у забора. Он с диким и пьяным ругательством взмахнул шашкой.

Нечеловеческий крик огласил воздух: удар шашки пришелся по ноге девушки. И тотчас же мы все трое с шумом провалились куда-то вниз. Мы очутились в темноте. Девушка в бессознательном состоянии тихо стонала.

— Постой, я найду спички, — сказал Большаков.

Он чиркнул спичкой, и мы огляделись. Мы находились в каком-то сарае; на руках у меня лежала девушка; кровь заливала ее платье и мои руки. Зажегши еще несколько спичек, мы увидели деревянную дверь. Большаков подошел к ней и, навалившись на нее всем своим корпусом, вышиб ее.

Осторожно взяв девушку под руки, мы понесли ее.

Мы очутились в огромном пустынном дворе купеческого дома.

В доме светились окна.

— Как выйти? — спросил я, — ведь есть дворник, он задержит нас.

— А, чорт! — выругался Большаков, — пойдем обследуем.

Он побежал к дому.

— Идем, скорей! — сказал он, быстро возвращаясь,— дворник в сторожке, играет на балалайке бабам.

Мы быстро двинулись вперед, неся свою тихо стонущую раненую.

Из сторожки неслись звуки треныкавшей балалайки, слышался топот, визг и смех.

Выйдя на улицу, мы окликнули извозчика.

— В аптеку! — скомандовал я.

Извозчик было заупрямился, но Большаков так выразительно сжал извозчику руку, что тот стегнул лошадь, и минут через десять мы подъезжали к аптеке.

Здесь мы рассказали все без утайки и, как следовало ожидать, встретили горячее сочувствие. Девушке оказали первую помощь и вызвали доктора. Рана оказалась, к счастью, легкой: спасла толстая шубка.

Все же было рассечено бедро, и требовалась более серьезная медицинская помощь.

Сделав перевязку, врач, добродушный седенький старичок, стал звонить в больницу с целью устроить там раненую.

Но раненая уже пришла в себя. Это была курсистка N курсов. Милое юное лицо ее, обрамленное густыми, как лен, волосами, собранными в косы, поражало своими голубыми глазами, сиявшими, как две звездочки.

Пленительная улыбка, осенявшая это лицо, придавала ему еще больше мягкости и нежности.

— Ну вот, болезная моя, — сказал старичок доктор,— теперь можно и в больницу.

Девушка с благодарностью посмотрела на доктора и умоляющим голосом сказала:

— Я уже здорова, доктор. Нельзя ли меня домой? Я не хочу в больницу.

Доктор засмеялся.

— Да можно и дома. Только в больнице лучше.

— Можно дома? — радостно засмеялась раненая, — ну, вот и хорошо. Мои друзья и спасители доставят меня, а вы, доктор, приедете ко мне завтра. Я лучше домой... Мне совсем хорошо. А вот, доктор, не ранены ли они?

Она посмотрела на нас.

Мы были здоровы и невредимы; только клочья моей тужурки, да отсутствие фуражки, потерянной Большаковым, говорили о том, что и мы были в схватке.

Доктор добродушно посмотрел на железную фигуру Большакова и с усмешкой заметил:

— Этого Геркулеса все казацкие нагайки не свалят с ног.

Бережно доставивши нашу больную домой, мы только там назвали себя и узнали ее имя. Таким образом и завязалось наше знакомство с Леной Н.

Простившись с нею, мы побрели домой и теперь только вспомнили о Кеслере.

— А что с Петькой, а? — обратился я к Большакову,— а что, как убит?

— Небось, живехонек, — ответил тот, — идем к нему.

Петька был уже дома. Он был «обработан» основательно: вся спина его была в кровоподтеках. И сердобольные товарищи заботливо ухаживали за ним, в точности выполняя предписания уже побывавшего у него товарища-врача.

Я и Большаков стали бывать у Лены. Большаков особенно любил заходить к ней.

Приятно было смотреть, как этот медведь бережно брал своей огромной рукой маленькую ручку Лены, и как эта ручка тонула в его ладони. Приятно было слышать, как Лена, усердно занимавшаяся политической экономией, сердито говорила Большакову:

— Ну, поймите меня, Большаков: капитал есть ценность, создающая новую ценность... Понимаете, как снежный ком, маленький сначала, катится и делается все больше

и больше. Только прибавочная ценность — это вы, Большаков.

— Я прибавочная ценность, — хмурился Большаков,— этого не понимаю, а вот насчет кома — это я понимаю...

Лена смеялась, гнев ее проходил, и она снова пускалась в объяснения истин политической экономии.

Большаков внимательно слушал Лену, хмурил брови, когда хмурилась она, смеялся, когда смеялась она, и печалился, когда грустная дымка окутывала ее лицо.

Познакомился с Леной и Кеслер и сейчас же надавал ей сотни поручений.

Большаков соглашался с Кеслером, когда тот мотивировал свои действия необходимостью приучить Лену к практической революционной деятельности, но, когда Петька однажды попытался нагрузить ее литературой, которую она должна была пронести под платьем, Большаков запротестовал.

— Зря! — заявил он, — Елена Николаевна еще больны. Я это сделаю сам.

— Да ты что, — завопил Кеслер, — как царицу-недотрогу беречь ее хочешь?

— Дурак ты, Петя! — отрезал Большаков.

— Топтыгин! — ответил Кеслер.

Я, однако, должен был уехать: партия посылала меня на новую ответственную работу. Мы все — я, Большаков, Кеслер и Лена — сидели в ее комнатке и пили чай.

Шутки, смех, пение перемежались с серьезным разговором, и грусть разлуки не точила сердца.

Только изредка облачко какой-то печали появлялось на наших лицах.

— Ну, прощайте, товарищи, — говорил я, собираясь уходить, — ты Петька, корми Лену не прокламациями, а сладкими пирожками, ты, Николай, не дави ей своими лапами рук и вообще заботься о ней, а вы, Лена, держите

этого медведя на цепи, проденьте ему кольцо через губы и водите его показывать. Меня же не поминайте лихом.

Лена пожала мне руку и печально сказала:

— А вы не забывайте меня, Владимир. Не забудете?

— Конечно, нет, — ответил я, — да что, давайте-ка заключим такой союз: во время победоносной революции встретимся в Петербурге на баррикадах, на углу Литейного и Невского.

— Хорошо, заключим! — вскричала Лена.

Мы четверо пожали друг другу руки, и я направился к двери.

— Владимир! — окликнула меня Лена, — вы и до революции не забывайте нас.

Все засмеялись, и под радостный смех своих друзей я ушел в темную даль.

В 1917 году первые раскаты Февральской революции призвали меня в Петербург.

Еще горели участки, еще трещали пулеметы, и победоносный народ еще, настигая своих врагов, творил суд и расправу.

Шумела вооруженная толпа, реяли красные флаги, и революционные песни вперемежку с выстрелами оглашали весенний воздух.

Я ринулся в работу, и энтузиазм революционного творчества охватил меня.

Полный радостного одушевления, как-то утром я шел вместе с демонстрацией. Скопление сотни тысяч людей на углу Литейного и Невского остановило нас; со стороны Владимирского вливались новые колонны демонстрантов. Разговаривая с товарищем, я вдруг услышал, что кто-то окликнул меня:

— Владимир!

— Лена!

Да, это была она.

Все то же милое русское лицо, те же дивные косы, те же звездочки-глаза и та же радостная улыбка.

Мы дружески пожали друг другу руки.

— Помните, — сказал я, — демонстрацию, Большакова, Кеслера?

— А вы помните нашу клятву? — спросила она.

— Какую?

— А угол Литейного и Невского...

— Ах, правда! Но ведь нет еще двоих. Петька жив, в Симбирске, а Большаков?

— Николай умер в Москве на баррикадах...

— Так! — сказал я, — вечная память борцу-революционеру.

— Да, вечная память. Золотое человеческое сердце было у Николая.

— Да... Я ведь думал, что вы вышли замуж за него.

— Да... Нет... этого не случилось.

— Почему?

— А вы как думаете, Владимир, почему?

— А ведь я тоже не женился.

— Почему?

— А вы как думаете, почему?

Мы пожали друг другу руки и пошли рядом в демонстрации. Две звездочки сияли предо мной, и радостная улыбка освещала мой путь.

Цена 95 коп.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1) Правлению Издательства Политкаторжан — Москва, 34, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-[illegible]3.

2) Магазину Издательства Политкаторжан „МАЯК“ — Москва-центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.